



ИСТОРИЯ УКРАИНЫ В РОМАНАХ

Юзеф
КРАШЕВСКИЙ

Хата за околицей

Ульяна

Остан Бондарчук



CF FOLIO

Юзеф Игнаций Крашевский

**Хата за околицей;
Уляна; Остап Бондарчук**

«ОМІКО»

2014

Крашевский Ю.

Хата за околицей; Уляна; Остап Бондарчук / Ю. Крашевский — «ОМІКО», 2014

Юзеф Игнаций Крашевский (1812–1887) – польский писатель, публицист, издатель, автор книг по истории и этнографии. Член Академии знаний в Кракове (1872). Его литературное наследие составляет около 600 томов романов и повестей, поэтических и драматических произведений, а также работ по истории, этнографии, фольклористике, путевых очерков, публицистических и литературно-критических статей. Крашевского ставят в один ряд с видными знаменитостями в области изящной словесности не только Польши, где после Адама Мицкевича он самый популярный писатель, но и с корифеями современной европейской литературы. Произведения, вошедшие в эту книгу, относятся к так называемым «крестьянским» романам. Их герои страдают от произвола помещика, и их удел – голод, нищета, изнурительный труд и унижительное бесправие.

© Крашевский Ю., 2014

© ОМІКО, 2014

Содержание

Хата за околицей	5
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Крашевский Ю. И Хата за околицей; Уляна; Остап Бондарчук

Хата за околицей

I

На границе Волыни и Подолии есть селение, расположенное в долине, под крутым склоном горы, на которой широкою равниною стелятся золотистые нивы, кое-где пересеченные небольшими темными рощами. Через селение бежит ручей, собранный запрудой в довольно обширный став. Весело белеются хаты в зеленых купах деревьев, прислоненные к склону горы, еще веселее отражаются они в чистых водах става. Тихо, зелено, спокойно, уютно в этом уголке, всему там приволье – и деревьям, и хатам, и людям. Небо над ним всегда ясно, а ветер, когда заходит в долину, то только для того, чтобы освежить воздух, бури проходят всегда стороною. Одну только грустную черту в этой светлой картине составляет кладбище, расположенное на высоком склоне и господствующее над селением своими крестами.

Присматривались ли вы когда-либо, читатель, к кладбищу многолюдного селения, где дорога каждая пядь земли? Как скупно отмеряется место для мертвых, как им тесно и душно! Ближайшие соседи, боясь, чтобы кладбище не забрало их собственности, которой не хочется им уступить для общей пользы, не пожалели труда и тщательно обвели его ровом и валом, чтоб ни один покойник не мог быть похоронен на их участке. Только и видишь на кладбище, что ров, вал, узенькие ворота да кресты. Никому в голову не пришло насадить деревьев. А пусть бы шумели они над прахом умерших: среди царства смерти хоть что-нибудь напоминало бы о жизни, кресты прятались бы в чаще ветвей и все не так грустно было бы смотреть на страшное для многих место вечного покоя. Есть, правда, и здесь кое-какая растительность, но что же это за растительность, и где же ее нет?.. Ее хоть бы и совсем не видеть! Торчат кое-где иссохшие стволы чертополоха, да местами разрослась крапива, да изредка кое-где на прошлогодней могиле синеют колокольчики или блестят золотые почки жабников.

Печально и сумрачно стоят ряды крестов. Много дум наводят они, и часто можно читать в них жизнь покоящихся под ними... Вот над богачом стоит дубовый окрашенный крест, крепкий и большой, на самом видном, почетном месте, бедняк приютил свой крест в уголке, сколотил и поставил его небрежно, не надолго: первый сильный порыв ветра сломит его или вынесет из кладбища, несколько лет обратят в прах даже эту последнюю память усопшего.

Там желтеет свежая могила, не успевшая еще зарастить травой, здесь могильная насыпь давно исчезла, и вместо нее образовалась яма. Вместо ворот на валу стоит только покосившаяся деревянная рама с небольшим крестом, полотно, служившее когда-то воротами, давно сорвалось с поржавелых петель и лежит через ров вместо мостика. Тесен вход на кладбище, но для покойника простору в нем довольно. Часто разгуливает между крестами ветер и дикой, печальной своей песней нарушает крепкий сон мертвых. И душно, и страшно, и грустно на кладбище! Не знаю, как люди, привыкшие к просторным веселым избам, могут спать в таком печальном месте! Вероятно, многим, с миром отшедшим, не нравилась новая обитель, и не один из них по ночам упырем посещал прежнее свое жилище. По крайней мере в селении много рассказывают о подобных посещениях, приписывая их непривычке покойников к сырой и душной могиле.

Если же и покойникам не нравится кладбище, что же живым? А между тем, не далее, как в шагах пяти от него, через дорогу, стоит изба не изба, даже не мазанка, а скорее разве шалаш

или что-то такое, чему и название не приищешь, хотя оно, очевидно, служит жилищем человеку. Одной стороной оно обращено к кладбищу, а другой упирается в горный обрыв. Трудно представить себе что-нибудь подобное. В безлесном краю бедному человеку негде взять леса на избу. Но чего не придумает человек, сам-друг с нуждою! Обрыв горы заменил две стены, другие две примкнуты к нему, словно птичье гнездо. Они сложены или, вернее, слеплены из обрубков дерева, бог весть откуда занесенных, из хворосту, соломы, глины, все это смазано и держится каким-то непонятным образом. Из таких же материалов, настланных дерном, составила крыша. Воля и нужда сделали что могли, остальное окончил Бог. Он украсил крышу зеленью и корнями ее накрепко связал разнородный материал. На избе шумит целая плантация куколя и других трав, а из-за них боязливо выглядывает сплетенная из хвороста и смазанная глиной труба. Чтобы стены не обвалились – доверять им было опасно – зодчий обвел их завалинкой и подпер двумя кривыми шестью. Несмотря, однако, на эти предосторожности, хата все-таки смотрит в землю – вот, кажется, сейчас присядет или приляжет. Окнами ей служат два неправильно прорубленные отверстия, в которые без рам вставлено несколько кусков стекла. Как ни мало пропускали они света, все-таки в хате было видно, когда солнце ударяло в стекла, стало быть, они довольно хорошо соответствовали своему назначению, строитель вполнину достиг цели.

В постройке двери нужда опять оказалась великим художником, творящим почти что из ничего. Дверь вышла чудом в своем роде. Посмотреть издали – она как будто ушла под самую крышу, манит прохожего, обещая свободный вход, а подойдешь ближе – она не выше пояса. Одним словом, все в этой несчастной мазанке – дверь, окна, труба – все было пародией на обыкновенные людские жилища. Но как ни мала была дверь, а много пошло на нее труда. В безлесной стране за одно «спасибо» никто не даст и полена, а строивший хату за околицей никакой другой награды предложить не мог. Зато эту дверь хоть бы прямо в комитет ученых, чтобы они в этом безмолвном, но тем не менее выразительном памятнике прочли, сколько вздохов сокрушало грудь трудившегося над ним! Сколько тут было сплочено кусков и кусочков разного дерева, сколько дырок заклепано кольшками, сколько палок слабой рукой и тупым топором превращено в дощечки! Сколько родов дерева сошлось тут в непривычным им соседстве: сосна, дуб, явор, даже гордый граб соединились без чинов на одно употребление. Много бедняга приложил тут мастерства, но его теперь не видать, потому что ветер и дождь давно уже затянули чуждых соседей одной сплошной окраской, за которой едва можно рассмотреть различие их пород.

Представьте себе такую хату или мазанку, или лучше такое безымянное убежище, прилепите его к голому обрыву горы, против кладбища, и вы наверное спросите: кто же построил его, кто мог жить в нем? Тот, кто обыкновенно живет в подобных убежищах – нищий. Не страшно было ему соседство кладбища, не страшна смерть нуждающемуся: ему смерть – успокоение, ему не из чего дорожить жизнью.

Селение, нами описанное, называется Стависками. В некотором расстоянии от него пестреет усадьба, утопающая в роскошных нивах. Господский дом возвышается над окрестностью, из него можно видеть все, чем Господь украсил эту окрестность, – воды, горы, избы, церковь, костел, даже синеющие вдали леса, не видать только кладбища.

Кто жил в этой усадьбе, узнаем после, а теперь приступим к рассказу.

II

За несколько десятков лет перед тем, как выстроилась усадьба и английские сады заступили место скромных огородов, в Стависки прикочевал табор цыган. Начальник его, как водится, занимался кузнечным делом: родичи были ему помощниками, а прочие ворожили и крали. В то время уже реже начинали появляться эти загадочные бродяги, происхождение и

язык которых покрыты непроницаемой тайной. Приход их в Стависки был необыкновенным происшествием. Все селение выбежало поглазеть на пришельцев, сохранивших по прошествии нескольких столетий столь яркие еще признаки своего неевропейского происхождения и своего изгнанничества. Даже бабы, месившие хлеб, с засученными по локоть рукавами, вышли из изб, крепко держа за руки любопытных и вместе с тем трусливых ребятишек, чтобы цыгане их не похитили.

Парни и девушки тоже высыпали навстречу незваным гостям, и возвращавшиеся с полевых работ – вечер был летний – остановились с плугами посреди улицы. Табор состоял из нескольких человек и медленно подвигался к корчме. Сильный, атлетического сложения мужчина правил повозкой, из которой выглядывали запыленный кузнечный мех, сложенная палатка, наковальня и разные приборы и всякого рода лохмотья. Среди хлама сидела, поджавшись, женщина средних лет с ребенком у груди. Она была настоящая ведьма. Черные волосы в беспорядке спускались по обеим сторонам смуглого лица, украшенного блестящими глазами и коралловыми губами. Огромный платок, обвивавший голову, прикрывал ее почти всю. На коленях ее лежал младенец, совершенно нагой, припав устами к материнской груди. На лице этой женщины заметны были следы страданий, тоски и усталости. Взор ее ни на минуту не отрывался от дитяти. Мужчина отличался огромным ростом, широкими плечами и суровым выражением лица. Грудь его была совершенно обнажена, дырявая, засаленная рубашка и изорванные штаны едва прикрывали его смуглое тело, голова была также непокрыта, только густые выющиеся волосы защищали ее от дождя, ветра и жгучих лучей солнца. Шел он на босую ногу, но такой надменной поступью, что с первого взгляда можно было узнать в нем предводителя ромов¹.

Вокруг него тащилась остальная ватага: трое нагих детей от восьми до двенадцати лет, двадцатилетний юноша, девушка лет семнадцати, поразительной, оригинальной красоты, стройная, смуглая, одетая несколько опрятнее других, уродливая старуха, пожилой мужчина, коренастый, приземистый, с возвышенным лицом, подталкивавший сзади повозку, да еще две или три женщины, укутанные в полосатые одеяла, тащившиеся по земле.

Весь этот сброд лениво подвигался к корчме, по временам все посматривали на начальника, как бы с нетерпением ожидая приказаний. К общей радости повозка, поравнявшись с корчмой, остановилась; предводитель поднял голову и пронизательным взором окинул все окружавшее.

В то же время из корчмы высыпали несколько хозяев под предводительством войта (старосты), на голове которого гордо сидела высокая баранья шапка. Хозяева в глубоком молчании посматривали на пришельцев. Они не решались начать разговор, чтобы не уронить своего достоинства, и выжидали, чтобы гости сами повели речь. Измерив всех взглядом, предводитель цыган подошел к войту, узнав в нем по чутью, а может быть, и по новой, высокой шапке первое лицо в селении, слегка кивнул головой и ломаным, но полным какой-то осознанной звучности языком, сказал:

– Бог помочь, пане господарь, я думаю, ты здесь старшой?..

– Положим, ну так что ж?.. – гордо произнес Максим Лях.

– Если так, – отвечал цыган, лениво отирая с лица пот куском изорванного рукава, – я просил бы твою милость позволить мне переночевать в деревне.

– Ого, го! Чтоб к утру не досчитаться парочки – другой коней! – смело сказал войт, уперши руки в бока.

– Что попусту слова тратить! – со вздохом и полуулыбкой отвечал цыган. – Есть ли еще у тебя кони-то, батюшка? А мы не из тех цыган, что на чужое добро засматриваются: своими руками зарабатываем хлеб. Воров между нами нет.

¹ Этим именем называют сами цыгане свое племя.

– А ты каким чертом знаешь, что у меня нет коней? – вскричал изумленный Максим Лях.

– Вестимо дело, батюшка, цыган все знает! – двусмысленно проворчал Апраш.

– То-то и беда, – продолжал смущенный войт, краснея и поглядывая на своих, – знаете вы много, за то с вами как раз греха наживешь, меньше бы знали, меньше бы и лиха за вами. Вишь, знахарь какой! В деревне никогда не бывал, а уж знает, у кого есть кони, у кого нет! Давно не видали вашей братии, покорно просим!.. – с притворной улыбкой прибавил войт.

– Какой тут знахарь! – возразил цыган, слегка пожимая плечами. – Рано, пан войт, изволишь жаловать меня в знахари. Знаю я, что у тебя нет коней не за тем, что знахарь, а просто: вот, послушай, так и не станешь удивляться. С неделю стояли мы в Пятковцах, всего в полуторе миле² отсюда. Славу Богу, никто там слова дурного не скажет про Апраша, много перебивало у нас работы, угодили громаде³. Вот как стали мы сниматься, обыватели указали нам дорогу в Стависки, зашла речь про тебя, как войта, а тут старик Вуренец и сказал, что у тебя-де коней ковать не придется, потому-де у тебя их нет. Вот тебе и вся мудрость!

Между тем как происходил этот разговор, усталые цыгане растянулись на земле, где кто стоял. Старики понурили головы: молодежь поводила кругом взорами, стараясь хорошенько осмотреть селение, девушки же не спускали своих черных глаз с разговаривавших, как бы желая смягчить суровые, ничего доброго не предвещающие лица обывателей.

– Рассказывай себе, – подхватил Максим Лях, – так ли, не так ли, а вы собирайтесь подобру-поздорову, да подальше!

– Только переночевать позволь, завтра чуть свет мы уберемся.

– Солнышко, слава Богу, еще не зашло, успеете добраться до другой деревни, а у нас цыган не бывало, и мы проживем без них.

Цыган вздохнул и замолчал, опершись на кнутовище, он, по-видимому, размышлял. Подошла девушка.

– Скажите, что вам бояться от цыган? – сказала она смело, выразительно и довольно чистым языком. – Вас так много, а нас одна горсть, стыдно вам бояться, бог весть чего!.. В Пятковцах стояли же мы целую неделю и не сбежали оттуда, нас проводили с почетом и просили приходить в другой раз

– Молчи, Азаоро, – прервал Апраш, топнув ногой, – не в свое дело суешься, ступай к бабам! – Потом, обращаясь к войту, сказал: – Не выгоняй нас, пане войт, авось и мы тебе пригодимся. Рассуди сам, пора рабочая, за кузнецом надо ездить за две мили, ведь кому из вас, чай, не тяжело тратить целый день из-за починки какого-нибудь меха или сошника? Позволь нам только остаться, и нам будет кусок хлеба, да и для вас выгодно. Вот, – прибавил он, указывая рукой, – отдай нам только конец выгона, лишь бы разбить палатку и поставить котел, нам больше не надо!

Видно, хозяева нуждались в кузнице. При последних словах Апраша они начали переглядываться между собой, кивая головами. Сам пан войт почесал в затылке, несколько раз поправил шапку и в молчании посматривал то на одного, то на другого из обывателей, как бы вызывая их на подачу первого голоса.

Апраш заметил, что успех на его стороне, и на загорелом лице его заиграла улыбка. Пословица – «куй железо, пока горячо» – была ему очень хорошо известна, применяя ее к своему положению, он не переставал представлять все выгоды для поселян от присутствия его в Стависках и говорил так убедительно, что, несмотря на нерасположение войта, ему позволено было разбить шатер на пустом, несколько возвышенном берегу става. Цыгане этого только и ждали. Все их желания ограничивались местом для шатра и видами на небольшой заработок. Они не рассыпались с первого же дня по деревне, как бывает обыкновенно, женщины не таска-

² Миля в Волынской и Подольской губерниях равняется 10 верстам.

³ Громада – община, мир.

лись по избам, Апраш ничего не выпрашивал в долг: всю его деятельность поглотило устройство кузницы. Зато и явилась она скоро – словно из-под земли вышла, к вечеру была подкована лошадь одного крестьянина за незначительную плату, в состав которой входил черствый каравай хлеба, корм для лошади и худая, давно уже без проку кудахтавшая курица.

На другой день работа валила к цыгану, а на третий, если б он захотел снять свой шатер, крестьяне не отпустили бы его: так нуждались они в кузнеце. Работа Апраша в Стависках не переводилась. Правда, он был мастер на все: знал отлично кузнечное дело, удачно лечил скот, охотно пускался в разговоры, не жалел советов и знал с кем, о чем и как повести речь. Известно, что для того, чтобы приобрести общее уважение и доверие, в деревне, как и везде, нужно только уметь показать себя, Апраш же в этом отношении не уступал никому.

– Смотри, – говорил он парню, разинувшему рот от удивления, – смотри, что за подкова! Ты сроду такой не видывал. Даром, что у твоей лошадки-то копыто такое хрупкое, а подкова как пристала, словно приросла! И уж не захромает лошадка, не бойся, я ее не загвозжу, поезжай по какой хочешь дороге, подковы не скинет на другой день, не то что после ваших кузнецов. Будете поминать цыгана Апраша и скажете ему спасибо.

Скоро Апраш отбил работу у всех соседних кузнецов, в одну неделю он прослыл самым искусным кузнецом, и не раз мужички с сожалением поговаривали: что-то станем делать, как Апраша не будет?

Не знаю, хотели ль цыгане на первый раз задобрить поселян или отблагодарить их за легко выпрошенное позволение жить на их земле, только поведение их было беспримерно. В деревне не пропало ни иголки, цыганки по целым дням сидели у своей повозки, нигде их не было ни видно, ни слышно. Деревенские бабы сами приходили к ним: одной нужно было погадать, другой полечиться, но трудно было выпросить что-нибудь у смуглых цыганок, они были грустны, боязливы, осторожны.

III

Через неделю Апраш хотел двинуться далее и начал уже укладывать пожитки в повозку. Не тут-то было. Нашлось еще много поломанных лемехов, неподкованных лошадей и разного рода работы. Сам войт его удерживал.

Жили цыгане в Стависках, жили и наконец так хорошо прижились, что Апраш приказал под шатром выкопать яму, обил ее дерном, и под шатром неожиданно образовалась землянка. Никто на это не сказал ни слова, напротив, все радовались, что в деревне завелся свой кузнец, даже из других селений стали приходить с сошниками и топорами.

Вся семья цыгана, как мы уже сказали, состояла из него самого, из женщины с младенцем, называвшейся его женою, трех подростков, двадцатилетнего парня и семнадцатилетней красавицы, инстинктивно сознававшей силу своей красоты, из старухи, работника, своим безобразием напоминавшего Калибана, и еще трех женщин, о которых трудно было сказать, в каком качестве они принадлежали к семье.

Впрочем, точно ли это семья? Кто тут был отец, кто мать, сестра, брат, жена, муж – трудно было определить. Все между собою назывались непонятными именами, власть одного деспотически управляла всеми. Двое стариков не пользовались приличным их летам уважением, ими распоряжались как слугами, как детьми, а они беспрекословно повиновались. Однако это не был обыкновенный сброд цыганский: что-то более благородное проглядывало на их загорелых лицах, в их черных глазах заметно отражалась печаль изгнания, тоска сиротства, бремя отвержения. Они не переходили беззаботно с места на место, в их песнях не было дикого разгула обыкновенных цыганских песен, да и певались они не так часто. По целым дням сидела жена Апраша, недвижимая, безмолвная, как статуя, не спуская младенца с колен, в углу палатки, редко прикасалась к пище, ничем не занималась: глаза ее постоянно были уставлены в проти-

воположный угол. Муж иногда заговаривал с нею, но слова его оставались без ответа. Прибегали ребятишки, она и не смотрела на них, только плач младенца, бывшего у нее на руках, на время выводил ее из этой апатии, она сильнее прижимала его к иссохшей груди, и две глубокие морщины перерезывали ее лоб. Молча прислуживала ей безобразная старуха. Дюжий Калибан, которого цыгане звали «Цынок», вертелся около кузницы. Три женщины варили кушанье и присматривали за детьми. Молодой парень был вместе с Апрашем за наковальней, молча помогал ему и работал больше хозяина. Хотя в чертах его лица, в глазах и губах были несомненные признаки цыганской крови, однако он многим отличался от своих братьев ромов, в нем заметно было нечто чуждое этому племени, – словно чуждые мысли, стремления и страсти волновали его грудь. Волосы его были не так черны и не так волнисты, как у Апраша, они падали более прямыми прядями на его широкие плечи, лицо было блее, чем у большей части цыган, губы меньше и тоньше, очертание глаз было иное. Продолговатый облик лица представлял русский тип, но смешанный с кровью странников. Хотя он и исполнял приказания своего начальника, однако не так слепо покорялся ему, как другие, часто на острое словцо отвечал не менее едкой остротой, еще чаще менялся с Апрашем грозными взглядами. Не раз хозяин судорожной рукой заносил молот, как бы хотел ударить непокорного, глаза его наливались кровью, брови хмурились, жгучие, как искры, слова сыпались с его уст, но через мгновение какая-то неведомая сила сковывала его ярость, и снова одни удары молота нарушали молчание. После целого дня трудной работы молодой цыган не отдыхал под шатром с товарищами, редко садился к их общей трапезе, а обыкновенно с ломтем черствого хлеба взбирался на вершину холма, садился там в раздумье, и там заставляли его ночь и сон.

Упорное молчание жены и частые споры кузнеца с помощником не укрылись от взоров крестьян, которые с удивлением и даже с некоторым безотчетным беспокойством смотрели на непонятную семейную тайну. Как не мало привыкли они следить и разгадывать, однако они не могли не понять, что в узах, связывавших эти немногие лица, крылась драма, полная кровавых сцен. Действительно, эта мать, жившая, по-видимому, единственно своим ребенком, этот помощник, отдававший хозяину свой труд, но не отдававший ему души и воли, старики, исполнявшие, как волю, самые трудные обязанности, и дивная юная красавица, которая, казалось, повелевала всеми, даже самим общим их начальником, – было тут над чем задуматься, было чему возбудить даже самое ленивое любопытство. В лицах Апраша и Азы резче проявлялся цыганский тип, чем в лицах остальных их товарищей. Чудное создание была эта Аза. Кроме прелести молодости она поражала какую-то чужою нам, дикою, огненною красотой, которой подобие находим в индийских статуях и в картинах, украшающих древние индийские поэмы. Черные глаза ее метали огонь, и каждый взгляд их проникал насквозь. Темно-желтый, золотистый цвет лица, очаровательно изящная погيبь носа и выпуклые губы превосходно гармонировали с рамкой черных как смоль волос, столь густых и длинных, что они не только обвивали голову и шею, но часть их упала роскошными косами на плечи. На лбу ее, в глазах, в целом образе ее ангел или дьявол написал: «Ты будешь господствовать». И с явною уверенностью в себе шла Аза к своему назначению, сознание своей силы неотразимым могуществом выглядывало из-под рубища бедности.

Красота ее стана едва ли не превосходила еще красоту лица. Стройность и гибкость его поражали даже под лохмотьем, казалось, вся она была вылита из бронзы, наподобие первообразу человеческой красоты. Маленькой ее ножке, смуглой, но дивно изящной ручке, казалось, только бы покоиться на подушках. На грациозно округленной груди даже толстое, холстяное покрывало казалось роскошным и ложилось пышными, свободными складками, как самая тонкая восточная ткань.

Но красота этой девушки была доступна не всякому глазу, не всякий мог понять ее, чтобы постичь ее, требовалось глубокое сочувствие к истинно прекрасному, к первообразу красоты.

Смейтесь, сколько хотите, а все-таки поселянин видел в ней только гадкую цыганку, поэт же готов бы благоговеть перед нею, как перед чудным явлением.

А как же умела она, чаровница, одеваться! Кусок грубого полотна, пестрый платок, красный пояс, нитка кораллов, пучок полевых цветов, несколько блестящих побрякушек – вот все ее богатство, но из всего умела она создать истинно художественный наряд, и все было ей к лицу. Бывало, станет над водою, подумает немного, и с ног до головы, и каждый раз иначе, обвесит себя своими бедными уборами, потом целый час любит себя сама на себя, и когда вернется под свой грязный темный намет, в нем как будто светлее станет от ее красоты, даже Апраш нередко отрывал взор от работы, чтобы посмотреть на нее, и печальная улыбка скользила по его иссохшим губам.

Один только тот парень, что иногда осмеливался спорить с Апрашем, не смотрел на свою прелестную товарку, впрочем, не из равнодушия, а вследствие твердо принятого намерения. Бывало, прислонившись к шатру, в тени, сверкая только своими огненными глазами, Аза поет или резкими словами дразнит и пытается рассердить Тумра (так назывался парень). Но слова ее, что листья, падающие в реку: зарябят воду, уплывут и снова только небо смотрится в реку. Тумр не слушает, не смотрит, не отвечает, иной раз нахмурится или улыбается, продолжает ковать железо и ждет: вот сядет солнышко, огонь в горниле погаснет и он уйдет на пригорок отдохнуть.

Апраш и девушка иногда целый день досаждали ему выговорами, насмешками, бранью, он терпел, изредка возражал хозяину, отпускал неласковое словцо и красавице, чаще же сносил все молча и, дождавшись конца дня, убегал от них. Не раз старик и Аза пытались удержать его. Но напрасно девушка заводила чудную песню, а Апраш истощал свое красноречие в длинных наставлениях и льстивых обещаниях: Тумр был глух и нем по-прежнему.

Все это и много других сцен видали не раз поселяне, когда приходили чинить свои орудия, но не могли понять, что делалось под шатром странствующего кузнеца. Живой, жаркий разговор пришельцев наводил на предположение, но никто не разумел их языка и не мог уловить даже его звуков, не только что слов.

Был, впрочем, в селении один человек, понимавший несколько язык бродяг, потому что сам происходил из их племени. По прибытии своих единоплеменников он было заперся в избе, чтобы не видать их, но какая-то непреодолимая сила тянула его послушать хоть издали звуки языка, который он припоминал, как сон детских лет, и он стал по ночам пробираться к шатру и тут по целым часам, лежа на земле, упивался родными звуками, отзывавшимся то в песне Азы, то в брани женщин, то в приказах Апраша.

Лепюк, действительно, был родом цыган, но цыганство его сохранилось у него в одном воспоминании, долгое житье среди другого племени изгладило всякие следы его происхождения, и только разве по лицу, да и то не всякий, мог бы угадать в нем кровь ромов. Рассказывали на селе, что когда-то очень давно, на дороге между Стависками и Рудней, в жестокую стужу прохожие нашли в снегу два замерзших трупа: цыгана и цыганку. Должно полагать, что они, застигнутые среди поля метелью, предвидя неизбежную смерть, заботились только о бывшем при них дитяти. Сняв с себя лохмотья, они положили на них ребенка, и окоченелые их трупы защитили его от холода. Сострадательный поселянин, завернув ребенка в тулуп, привез его в деревню и отогрел, цыгана же и цыганку похоронили на перекрестке, на могиле их навалили небольшой курган из булыжника, и это место доньше называется «цыган и цыганиха». Найденный этот и был Лепюк. Он вырос в Стависках, перенял крестьянские нравы и язык, казалось, забыл своих навсегда. Воспитатель его выдал за него единственную свою родственницу, за нею отдал ему все свое имущество и свое прозвание. Лепюк прижил детей и жил себе домохозяином в селении, как на родине.

Но дивна сила воспоминаний и крови! Сколько раз старый Лепюк ни проходил мимо могилы на перекрестке, всегда невольно останавливался, задумывался и вздыхал, когда же к

селению пришли цыгане, он стал сам не свой. Старое, остывшее сердце так и рвалось в его груди, словно хотело выскочить, он бросился в свою хату и заперся в ней, по ночам не спал, днем был болен, бегал от своих единоплеменников, боялся встречаться с ними, все казалось ему, вот они сейчас признают в нем отступника. Промучившись так несколько дней и ночей, он наконец решился ночью, как вор, прокрасться к шатру Апраша и плакал как ребенок, слушая песню, которой сначала и не понимал. Этот язык детства не умер еще в памяти Лепюка, он только таился где-то глубоко в душе, неведомо самому старику, надо было только забросить искру чувства, чтобы он восстал совершенно живым в его памяти. Сначала до него долетали только какие-то непонятные и нераздельные звуки, но мало-помалу в памяти одно за другим начали возникать слова, становились все яснее и яснее, и вдруг старик узнал песню, убаюкивавшую его в детстве.

Горячие слезы выступили на глазах старика, и стыдно ему было, и сладко, и больно, на сердце словно камень. Мило было прошлое, и страшно вернуться к нему.

IV

Итак, один Лепюк мог знать, что происходило под шатром цыган. Он видал, как убежал оттуда Тумр и как красавица наблюдала за убегающим, он слышал проклятия, которые кузнец посылал вслед своему непокорному помощнику. Среди тихой ночи не раз слышал он тихий, но одушевленный говор, и различал голоса Апраша и Азы.

Однажды как-то Аза высунулась из-под шатра и устремила глаза на пригорок, на котором чернела фигура Тумра, цыганка погрозила пальцем и произнесла что-то, чего скрывавшийся за шатром Лепюк не мог расслышать.

– Аза, – сказал Апраш, – что тебе за охота заботиться о нем. Пора нам махнуть рукой на этого изменника, он не наш, в нем кровь гаджо!⁴ Отец его был мне брат, но мать не из наших, белокурая – гаджи. Что ни делай, напрасный труд! Только капля их крови примешайся к нашей и пойдет в их род, а не в наш. Так уж определил Мроден-баро (великий дух), что племя ромов сгинет навсегда, как только станет родниться с чужими. Бросим его: пусть себе идет, куда его тянет, пусть делает, что хочет, только сперва заработал бы, что мне должен за учение.

– Будем гонять, известно, что пойдет! – отвечала девушка, – не на стрелу птицу манят, а на зерно.

– А разве мы с тобой мало его ласкали?

– Я... может быть, но ты не слишком: ты всегда ненавидел его, как чужого.

– Так мне еще любить чужого? – с горькой улыбкой возразил Апраш. – Не за то ли, что из-за чужих нет у нас ни своего клочка земли, ни воды, ни тени, ни приюта? Проклинают нас и мы должны их проклинать!

– Чем же виноват Тумр, что родился от белокурой, чужой матери?

– Виноват или нет – каждый терпит за чужие грехи, наши грехи будут нести внуки, а мы несем дедовские... Слушай, Аза, – продолжал он после произнесенного сквозь стиснутые зубы проклятия, – брось его ласкать и приголубливать, и так уже он забрал себе в голову, что без него мы жить не можем! Найдем тебе мужа и кроме него, а он провалился к бынгу (черту)!

Улыбка промелькнула на губах цыганки, раскрыв два ряда белых блестящих зубов, но в глазах ее улыбки не было, губы зашевелились, как будто готовя возражение, однако она промолчала. В продолжение разговора цыган несколько раз посмотрел на женщину с младенцем, а потом, приблизившись к девушке, шепнул ей что-то, еще раз помянув бынга.

– Вот и эта! Смотри, и в ней кровь гаджи! Вот уж три года молчит, даже слезинки не проронит, бродит с нами, а сердце бог весть где! Нет, цыгану не следует брататься с белыми:

⁴ *Гаджо* – в женском роде *гаджи* – чужой, не цыган. Это название цыгане дают каждому народу, среди которого живут.

наша доля изгнание, наш удел вечно скитаться, а они – улитки, приросшие к скорлупе. Родятся, чтобы жить на одном месте, и чуть оно из глаз – чахнут и умирают.

– Оставь ее в покое, – возразила Аза, – она уже выплакала все слезы, выстонала все стоны, я знаю: отними у нее ребенка, она так на месте и умрет!

Апраш презрительно пожал плечами, выглянул за шатер, посмотрел на звезды и, как сноп, повалился на землю. Долго еще сидела Аза в раздумье и смотрела куда-то вдаль.

V

В усадьбе при Стависках жил в это время молодой человек, только что выпущенный в свет. Имя его было – Адам, а фамилия... но на что нам фамилия? На нежных его губах и подбородке едва начинал пробиваться пушок, ему не было еще двадцати лет, а он уже начинал тяготиться жизнью. Родятся же такие несчастные, без сил и без охоты к жизни, без огня в душе, без стремлений, без желаний и страстей, лениво открывают глаза на бесцветный для них мир и ждут, чтобы бесстрастный сон опять сомкнул их, ничто их не радует и не согревает, ничто не влечет на трудный путь надежд, деятельности и состязания. Смерть и жизнь для них одно и то же, люди им чужды, мир – пустая и бледная декорация.

К таким молодым старикам принадлежал Адам. Скучал он ужасно, и со скуки сердился и злился, брюзгливость стариков ведь не что иное, как следствие скуки. На всех окружавших вымещал он свою скуку и досаду, как будто они были виновны в том, что он живой мертвец.

Случалось ему иногда видеть, как другие наслаждались своею скромной долей трудовой жизни – и пробуждался он на мгновение от усыпления, и придумывал, что начать ему, но вслед за тем утомление опять связывало ему руки, все помыслы кончались продолжительной зевотой, голова опускалась и наставало прежнее усыпление. Подчас сердце его начинало ныть болезненной тоской, жадной любви, сильных ощущений, борьбы, но это были только мимолетные порывы, за которыми всегда следовал тот же тяжелый сон. Адам не любил еще, хотя не одна уже женщина сжимала его в своих объятиях и обливала его лицемерными слезами, и не одно, может быть, юное сердце билось действительной любовью к нему. Для него женщина была одной забавой, он не постигал, чтобы сердце могло сильнее биться для нее, чтобы можно ее любить. Пресыщенный и истощенный, он уже не искал новых попыток любви, скорее, избегал их, воображая, что испил до дна это блаженство, которое многим другим кажется неисчерпаемым.

Тяжело и бесцветно тянулась его жизнь, часто день казался ему веком, а минута годом, случалось, что он сидел и смотрел на часовую стрелку и, казалось, не мог дождаться, чтобы она передвинулась с места.

Однажды вечером, после продолжительной зевоты, с трудом поднялся пан Адам с дивана, оседланный конь был перед крыльцом, собаки и приятели давно ждали его. Но он не сел на коня, не отправился с приятелями на охоту, а побрел один, пешком, сам не зная куда. Случай привел его к палатке цыган. Заходящее солнце обливало запад багровым светом, косые лучи его чертили длинные полосы, золотые и черные, на траве, местами уже окропленной серебристой росой. Природа при этом чудном освещении представляла что-то необычайное, что-то фантастическое. Величественная картина поразила даже равнодушные взоры пана Адама, он остановился и стал смотреть вокруг себя. Это было как раз перед палаткой Апраша. С распущенными черными как смоль волосами сидела перед ним красавица-цыганка, полная огня и молодости, черные глаза ее пылали, как раскаленные уголья. Взор ее проник в самое сердце пана Адама, он задрожал. Аза заметила это, усмехнулась, и между ее алыми губами показались два ряда ослепительно белых зубов. Чаровница откинула назад голову, подняла глаза, выгнула свой стройный стан, словно хотела похвалиться перед ним своими семнадцатью годами. Пан Адам стоял, смотрел и восхищался, сердце его сильно билось, кровь в его жилах

текла живее обыкновенного, в первый раз в жизни зародилось в нем желание – он действительно полюбил.

Только бы искру любви в иссохшее сердце – она разгорится, как пожар в засуху, пламя запылает с негаданной, всесокрушающей силой. Так было с Адамом. Не сошел он еще с места, как мысленно решил: «Она должна быть моею, хоть бы пришлось ее купить ценою крови... должна быть моею!»

Как только он отошел на несколько шагов, Аза с радостью и со смехом побежала к Апрашу.

– Слушай, дод⁵, – сказала она, – брось свой молот и отдохни, дивное дело делается: рак-лори⁶ поймала рыбку...

– Что, тебе опять пригрелось? – резко отвечал цыган.

– Нет, не пригрелось, я знаю людей! Обрекши нас на вечное скитание, Бог дал нам чутье, как старому джукалу⁷, что отыскивает себе целебную траву, мы также чуем людей и читаем в них лучше, чем они в своих книжках. Давеча здесь проходил здешний молодой раи⁸, тот, о котором рассказывают, что у него в жилах вода вместо крови. И подлинно: посмотреть на него – кажется, не станет у него силы дожить до завтра. Однако мои глаза разожгли его. Да и я уж смотрела на него, смотрела так, что он весь задрожал и свернулся, как уж под ногою. Лицо так и вспыхнуло, руки затряслись – и побежал отсюда, как шальной.

Цыганка дико хохотала и била в ладоши.

– Будут у Азаори богатые наряды, золото на голове, золото в косах, и красные пояса, и все, что ни захочет!

– А ты продашь себя, рак-лори? – мрачно спросил цыган.

– Я? Навсегда – нет! На час! Отчего же и не продать себя? На свете все продается, разница только в цене: чего не купишь за грош, купишь за миллион. Сердца ему не продам, а глаза, кошу, холодные руки отчего ж не продать?

– Прелестница, – произнес сквозь зубы цыган, – прелестница! Бынгескри дчай!⁹

Аза отскочила, как бы пораженная громом, глаза ее запылали.

– Слушай, старик, – грозно закричала она, – ты не имеешь еще права поносить меня и посылать к бынгу! Ты не знаешь, что у меня на уме. Я продам себя, но не на позор, за его деньги я дам ему только то, что дам каждому: улыбку, взгляд, песню! А ты думал, что я век буду жить в ваших лохмотьях и грязи? Нет, нет, я презираю и вас, и себя, я родилась на то, чтобы быть рани¹⁰, мне нужны наряды, цепочки, блески, самоцветные камни, мне нужна власть!.. А после, – прибавила она задумчиво, – когда пройдет молодость, когда увянет моя красота, оденете меня опять в лохмотья, и я пойду за повозкой, послушная, как джукал.

Кузнец только покачал головой, но клещи и молот дрожали в руках.

– Собачья душа! – проворчал он – Не дается цыган, так надо ласкаться к барину. Вишь, с нами не живется! Ох, молодость, молодость!..

– Ты никогда не был молод, – живо перебила Аза, – одни женщины умеют быть молодыми, а мужчины уже рождаются стариками. Ваше дело работать, а наше – нет. Где же петь в голоде и в нужде?!

– Вскружилась твоя головушка!

⁵ Дод – отец.

⁶ Ракли и уменьшительное *рак-лори* – девушка.

⁷ Джукал – собака.

⁸ Раи – барин, господин.

⁹ Чертова дочь.

¹⁰ Барыня, госпожа.

– Вскружилась! – подхватила цыганка, танцуя в тесной палатке. – Посмотри, как я заживу. Буду веселиться, петь, плясать! Завтра буду в барском доме, завтра буду рани! Счастливо оставаться, старик!

VI

С тяжелой думой возвратился пан Адам домой. У крыльца его встретили собаки и приятели, но он ни словом, ни взглядом не наградил их. Туча собралась на его челе, в глазах загорелась страсть, кровь его кипела желанием, любовью!

Хотелось ему, не теряя ни минуты, воротиться назад, подать руку цыганке, ввести ее в свой дом, но стыд перед приятелями и слугами удержал его.

Целую ночь прометался он в бессоннице. К утру, когда он немножко успокоился, стало ему стыдно себя самого, он начал смеяться над собой.

«Смешно, – рассуждал он про себя, – паныч влюбился в цыганку, в черную грязную цыганку, когда стоит только съездить в столицу и выбрать любую из сотен красавиц! В богатстве захотелось отведать трудового хлеба! Нет, вздор, это невозможно, не должно быть».

Он старался отогнать мысль о цыганке, но мысль, как пиявка, впиалась в его сердце и терзала его без милости.

Он, так сказать, распался на два человека, как обыкновенно бывает, когда в душу западет страсть, сильнее рассудка и стыда, и мы попеременно страдаем и смеемся над своим страданием.

К вечеру паном Адамом овладел страшный гнев. Он приказал созвать людей, чтобы узнать, кто позволил цыганам расположиться на пустом выгоне. Сам он не решался опять идти к палатке, а хотелось ему, чтобы палатка к нему пришла, и он гневно велел позвать цыган.

Солнце было уже на закате, давно уже сидела Аза перед палаткой, разряженная, веселая, с лукавой улыбкою. Апраш без милости смеялся над нею, когда явились из господского дома посланные – перепуганный войт и другие старшины. Аза радостно захлопала в ладоши.

Старшины думали, что девка одурела. Им страшен был гнев барина, который ей одной был понятен и одну ее не пугал.

Апраш шел на господский двор в раздумье, а Аза с веселой, лукавой улыбкою, в полном блеске красоты.

На крыльце не было ни собак, ни приятелей, сидел один барин. Аза подошла к нему смело, с полным сознанием своей силы, с уверенностью в победе.

Испугался Адам ее черных блестящих глаз, вместо гнева в лице его мелькнула улыбка, как бы выпрашивающая сострадания.

– Кто позволил вам стоять здесь? Откуда вы пришли? – спросил он после некоторого колебания.

– Старик мой не умеет хорошо говорить, – живо подхватила цыганка, – позволь мне говорить за него. Молчи, Апраш, дай мне все устроить! – прибавила она шепотом по-цыгански.

С этими словами она подошла к самому крыльцу, наклонила голову на сторону, подперла ее рукой и, как змея, впившись взором в юношу, начала говорить вполголоса какие-то непонятные слова, словно заговаривала жертву. Адам с минуту смотрел на нее, потом хотел отвернуться, чувствуя, что взгляд цыганки потрясал его до глубины души, но уже было поздно: красавица держала его в своих сетях. Безмолвный, бессильный опустил он голову.

VII

На следующий день Аза была в господском доме, а цыгане с кузницей по-прежнему на выгоне. Но Азы нельзя было узнать. Черная цыганка в барских покоях была царевной бере-

гов Инда, видением из древних санскритских поэм и недоставало ей только цветка лотоса, чтобы представить собою Лакшми, родственницу Вишну и Браммы. Все богатства, все роскошные уборы, в продолжение многих лет накопленные предками паныча, были отданы в полное распоряжение цыганки. Сам пан Адам стал ее послушным рабом, забыв вчерашних друзей, собак и все на свете, по целым дням лежал он у ног чаровницы, принимая с подобострастием малейшую милость, какую ей угодно было его наградить.

Так проходили дни за днями, она смотрела, он слушал. Иногда она поражала его язвительной улыбкой, иногда ласкала нежным взглядом. Адам страдал, она становилась нахальнее, непокорнее и требовательнее, чем более встречала покорности в своем обожателе, тем безжалостнее давила его. Аза жила своим торжеством, ей только и нужно было видеть себя красавицею и госпожою, отведать жизни богатых, упиться разом, как дикому зверю, всем, что было в ее власти, наслаждаться богатством долго она не сумела бы. Молодой человек, валявшийся у ног ее, измученный жаром бессильной страсти, не возбуждал в ней даже сострадания. И понятно: цыганка привыкла видеть мужчину крепким, сильным, трудящимся, а пан Адам был в ее глазах карликом, на которого она смотрела с любопытством и даже с некоторым презрением, она смеялась над ним и только когда страсть совершенно обуревала безумца, она бросала ему двусмысленную улыбку, как жадной собаке бросают объеденную кость. Любовь в несчастном шла об руку с гневом, но в обоих чувствах он был равно бессилен, и они только сжигали его самого.

Аза, между тем, переходя от одного предмета к другому, забавлялась разнообразными богатствами, которые собрали в старинном доме несколько поколений праздности, избытка, скуки и прихотей. Каждый день требовала она новых украшений, новых игрушек, и за все платила только обольстительной улыбкою, волшебным взглядом своих черных глаз. Пан Адам не мог добиться от нее даже самого холодного поцелуя, так хорошо понимала она, что могущество ее заключалось в порывах неудовлетворенной страсти, долженствовавшей угаснуть в первом объятии. Она раздувала искру взорами и улыбками и спешила пожить этой жизнью богатства, роскоши и власти, как обаятельным сном, который мог с минуты на минуту прерваться. Она хотела почерпать все, что неожиданная прихоть судьбы подавала ей, когда же припоминала она свои лохмотья, дрожь пронимала ее, и она, как страус, закрывала глаза, чтобы не видеть будущей нищеты.

VIII

Казалось бы, такая жизнь не могла тянуться долго, а она таки тянулась уже немало времени. Чародейка сжигала хилого юношу дотла, тяжело ему было, но с давнего времени впервые почувствовав жизнь, он не мог от нее оторваться. Мало-помалу, однако, Аза начала чаще помышлять о завтрашнем дне, о цыганском шатре, о лохмотьях, о радостях и лишениях цыганского житья под открытым небом. В душе ее происходила борьба. С одной стороны, удерживал ее блеск богатства, с другой – манила цыганская свобода. Хотя и в расписанных стенах, а все-таки она чувствовала себя невольницей, в окна видела все одни и те же печальные темно-зеленые ели, не чувствовала она порывов ветра, а только слышала глухие стоны его в трубах, не приходила беспрестанно к новому, неведомому, и в душе ее пробудилась тоска по прошлому, тоска даже по бедности.

Кто разберет человеческую природу, кто разгадает человеческое сердце? Как часто случается, что нами овладевают два стремления, совершенно противоположные, и оба нам так милы, так дороги! Так было и с Азой.

В доме Адама удерживали ее все наслаждения богатства и роскоши, к табору влекла тоска о беспредельном мире.

Через неделю цыганка уже плакала от тоски и хотела бы улететь, ей казалось, что она умрет в этой неволе, жаль ей было только роскоши, которой не успела насладиться. Бледный,

хилый, млеющий поклонник не мог прельщать, она чувствовала к нему не сострадание, а одно только презрение, с отвращением отирала она руки после каждого прикосновения к ней иссохшей руки пана Адама. А он сгорал, любил, но жил...

Однажды вечером из-за деревьев показался месяц, вечерняя звезда загорелась на бледном небе. Аза с трепетом бросилась к окну, отворила его, высунулась, чтобы вдохнуть вечернюю свежесть и устремила к небу свои задумчивые глаза. Серебристый свет месяца воскресил в душе ее прежние странствия и вызывал к новым.

– Что с тобой? – спросил Адам.

– Что? – произнесла Аза с язвительной улыбкой, едва оборачиваясь к нему. – Не понять тебе, если я и скажу!.. Жаль мне бедности, холода, голода и бродячей жизни, тошно мне на одном месте, – недаром мы обречены на вечное скитание! Тебе и в голову не придет, чтобы можно было тосковать по черному хлебу, по жалкой нашей доле, по бездомовью! Наши старики рассказывают, что в той земле, откуда мы выгнаны, почитают одну птицу... эта птица и к вам прилетает... Смотри, вот на дереве ее гнездо... у вас зовут ее аистом... Аист точно так же проклят, как и цыгане.

– И в самом деле не понимаю, – зевая, отвечал пан Адам.

– Погоди, может быть, поймешь. У аиста, как и у нас, нет родной земли. Давно, очень давно – лет тому столько, сколько песчинок в кучке песка или сколько звезд на небе в зимнюю ночь, – была на людей большая кара. Люди были тогда одним племенем, но они были нечестивы, и Мроден-баро решился наслат на них гибель. Один только был между людьми благочестивый старик, его Мроден-баро выбрал для возобновления людского рода, велел ему построить большой корабль, в котором поместились бы по паре всех земных тварей и несколько избранных людей. Когда небесные ворота отворились и вода потоком хлынула на землю, все твари стали входить в корабль и с грустью и скорбью прощались с матерью-землей. Не было глаза, который бы не прослезился, глядя в последний раз на родимый край, один только аист, с жабою в клюве, вошел на корабль, не оглянувшись даже на свое гнездо. Мроден-баро видел это и за такую бесчувственность проклинал аиста и велел ему вечно тосковать. И вот, как сошла с земли вода, аист начал вечно перелетать из края в край и все стонет и тоскует по одной далекой стороне. Этот аист – тот же цыган, что и мы. Все тоскуем, да все скитаемся с места на место, и нигде нет нам ни родины, ни отдыха.

Произнеся эти слова, цыганка вздрогнула и бросилась к дверям, как бы хотела бежать, пан Адам остановил ее.

– Ты должна остаться со мной! – сказал он.

– Почему же не тебе идти за мною? – надменно возразила цыганка. – Ты мне и не мил, и не нужен, я тебе нужна! Из чего стану я жертвовать собою для тебя? Хоть бы я влила в тебя всю мою молодость, – завтра же она застыла бы в этом льду!

– Ты не пойдешь! – закричал Адам в отчаянии.

– Нет, сегодня не пойду, – холодно отвечала Аза. – Как наступит полный месяц, циомуторо¹¹ укажет дорогу – тогда пойду.

IX

Между тем как это происходило в господском доме, под наметом Апраша по-прежнему стучал молот, сыпались проклятия и брань. Жена по-прежнему сидела неподвижно, прижав младенца к груди, нагие ребятишки бегали по выгону, Тумр по вечерам уходил из шатра. Один Апраш грустил по черным глазам Азы, по ее песням, то веселым, то унылым, по ее насмешливым речам.

¹¹ Циомут, или чомут, у иных цыган чон – луна, оро – уменьшительное окончание.

Бедный Лепюк, в котором разгорелась кровь ромов, по-прежнему каждую ночь ходил к шатру прислушиваться к звукам забытого с детства языка. А между тем перед хатой старика, на завалинке, долго просиживала по вечерам, в глубоком раздумье, подперши голову рукою и устремив неподвижный взор за околицу, молоденькая, пригожая дочь. Мотруне было лет семнадцать, она вовсе не походила на прочих стависских девушек, и в толпе их, когда они вместе отправлялись к обедне, тотчас можно было узнать ее, как зерно гречихи в куче золотой пшеницы. Лицо ее представляло смешение крови опального племени с кровью славянской, в сердце ее кротость и нежность оседлого племени соединялись с вечной тревогой и тоской скитальцев. Она была хороша, как цыганка, и мила, как подолянка, в глазах горел блеск юга, на устах светлая и ясная жизнь севера. Дочь Лепюка была первой красавицей в селении и одною из самых гордых, в выражении ее лица было нечто, как бы предчувствие, что на ее долю выпадет более страдания, чем на долю всех ее сверстниц, и что она перенесет их мужественнее. Редко она смеялась, редко участвовала в плясках, не любила ничего, чем тешатся другие деревенские девушки. Лучшим для нее удовольствием было по целым часам просиживать на высоком холме и глядеть далеко, как бы ожидая, не отзовется ли ей кто с другого края света. Мать ее давно умерла, отец любил ее, но мало ее голубил, братья ее пошли в мать – были веселые, бойкие парни и не понимали грусти сестры. Мучением было для нее долго сидеть в избе, часто она плакала, мысля о том, что прикована к завалинке, когда же надо было идти за водой, она с радостью бежала к самому отдаленному ключу, выбирая всегда наименее знакомую тропинку.

Однажды вечером, идя с коромыслом на плечах, Мотруна встретила Тумра: только раз встретились их взгляды, но они не могли уже забыть друг друга. Тумр был слишком горд, чтобы искать сближения с девушкой, которая могла с презрением отвергнуть его, не Мотруне же было начинать знакомство. Но две силы, независимые от их воли – случай и могущество рождающейся привязанности, – сводили их, бессознательно для них самих. Днем Мотруне зачастую приходилось проходить мимо цыганского становища, по вечерам скитание Тумра невольно направлялось к избе Лепюка. В сердце молодого цыгана разом заговорили два чувства, которые очень часто соединяются: любовь к девушке и желание привязать свою судьбу к месту, к клочку земли, на который могла бы излиться часть любви, наполнявшей его сердце.

Тумр никогда не любил кочевья, теперь же сильнее, чем когда-либо, мечтал он о своей избе, о своем клочке земли, о тихой жизни у домашнего очага, о спокойной смерти под родным кровом.

Вместе с тем развивалась в нем и любовь к Мотруне. Хотя не было еще произнесено между ними ни одного слова о взаимном чувстве, однако оно уже не было для них тайной: одно только слово, одно движение – и чувство должно было вырваться наружу. Однажды встретились они за околицей. Мотруна, задумчиво опустив голову, возвращалась с поля, Тумр, по обыкновению, швырнув молот, выбежал из шатра, чтобы подышать чистым ночным воздухом на свободе. Селение пряталось в тумане, воздух был напитан летними испарениями, запахом жнива и цветов. Взоры молодых людей случайно встретились и встретились, как знакомые, родные, как будто они уже целые годы прожили вместе. Мотруна несла вязанку хвороста и сгибалась под тяжестью. Тумр сжалился над усилиями девушки.

– Послушайте, – сказал он, подходя к ней, – позвольте мне донести вашу вязанку до избы, вы совсем измаялись...

– Да вы идете не в деревню, вам не по дороге...

– Я никуда не иду.

– Как еще бежали-то!

– Так только освежиться. Довольно наглотался дыму.

– Стало быть, сами устали!

– Эх, нет!

Говоря это, Тумр взял вязанку, взвалил на плечи и пошел с девушкой к селению.

Путь был недалёкий, но много ли нужно времени, чтобы высказать всю душу? Немного слов было обменено между ними, но в этих немногих словах заключалась вся их жизнь, все их надежды. Еще не дошли они до избы, а уже знали друг друга совершенно. В беседе и не заметили они, как приблизились к избе Лепюка, Мотруна вспомнила, что их может увидеть отец, и только что хотела взять вязанку и удалить своего проводника, как раздался гневный голос. Лепюк стоял у ворот с трубкой в руке и таким суровым взглядом встретил приближавшихся, что у Мотруны сердце замерло от страха.

– Го, го! – закричал старик дочери. – Вот погоди, будешь у меня таскаться по ночам с цыганами! Вишь, что еще вздумала! И ты туда ж, оборванец! Смеешь ухаживать за хозяйской дочкою? Это что значит?..

Цыгана обдало холодным потом. Испуганная и смущенная Мотруна успела уже скрыться в ворота, когда Тумр собрался с ответом.

– Велик грех, – сказал он, – что я помог твоей дочери нести вязанку!

– Обойдется и без твоей помощи! – закричал старик дрожащим голосом. – Ступай себе своей дорогой, да не заводи у нас знакомства, не то, пожалуй, познакомишься и с дубиной, она у старого Лепюка всегда готова для непрошенных гостей!

Старик отворотился и начал выбивать пепел из трубки, ворча себе под нос:

– Того только и недоставало, чтобы к моей крови да снова прилить цыганской! Вишь, чертовы дети! Уже успели снюхаться. Да я выбью у девки дурь из головы! Цыганская кровь так к цыганам и тянет! Эх, видно, что ты себе ни делай, а не сбросить этого проклятого цыганства! Я ли не старался, и сколько лет, переделать себя, чтобы люди забыли цыгана! А тут надо было нелегкой принести этих оборванцев! Надо принять меры заранее, не то, пожалуй, скажут: старик с умыслом просватал дочь за цыгана. Нет, не бывать тому!..

Крепко билось у старика сердце. Задыхаясь от гнева, вошел он в избу, где дочь уже суетилась около печи.

– Слушай, Мотруна! Да не отворачивайся и не прячь головы и ушей за горшки, – я шутить не люблю! Какое тебе дело до цыган, а цыганам до тебя? Эй, нехорошо будет, право слово, нехорошо! Я этого не похвалю. Ты хозяйская дочь, стыдно тебе связываться с цыганом!

Девушка с минуту помолчала, потом подняла голову и кротко сказала:

– Что ж тут дурного? Он сам подошел ко мне, я его не просила.

– А тебе бы прогнать его!

Девушка пожала плечами.

– Да и что помог мне, что тут дурного?

– Вишь, какая разумница стала! Она же меня учить будет! Много ты знаешь, глупая голова, где начинается зло и чем кончается! Положим, что сегодня ничего не было, назавтра он уже будет считать себя знакомым, станет смелее, через неделю станешь скучать по нему, а там, чего доброго, придется мне выгнать тебя дубиной из хаты вместе с ним.

Девушка молчала.

– Эй, берегись, – прибавил Лепюк, бросаясь на девку, – не своди таких знакомств! С цыганом водить дружбу нам не след! Завтра он откочует себе, как дикий зверь, ну, а что будет, как положит на нас позор? Что будет с твоим стариком-отцом? Эх, берегись, Мотруна! Я не прошу... никогда не прошу! Ты меня знаешь!

Х

Несмотря на угрозы старика, знакомство молодых людей не прекратилось. Не раз видались они на холме, за околицей, только осторожнее, так, чтобы ни один глаз не мог их подстеречь. Каждый новый день крепче связывал их. Мотруна мужественно пошла по пути, указанном ей судьбою, Тумр твердо решил остаться в Стависках, бросив своих братьев цыган.

Сильные страсти редко проявляются в нужде и в унижении, зато, когда проявятся, то уже бушуют в сердце страшно, неукротимо: ничто не может переломить их, потому что сердцу, знакомому с бедствиями, испытавшему горечь жизни, нечего уже бояться. Наша гостинная любовь часто не выдержит одного вида истертого платья, не выдержит мысли, что придется любить в дрянном домишке, среди лишений и трудов. Не то у поселян: их любовь не пугается ни голода, ни лишений, ни нареканий. Наша любовь – тепличный цветок, не выдерживает ни острого ветра, ни морозов, любовь крестьянская – редкий цветок, расцветает во много лет раз, но зато переживает бури, не боится болезней, презирает судьбу. Такая же была любовь Тумра и Мотруны. В сердце девушки она побеждала боязнь отца, а цыгана заставляла забывать, что нужда вдвоем тяжелее нужды одинокой. Они ничего друг другу не обещали, не давали никаких клятв, а были вполне уверены, что любовь их восторжествует и над отцом, и над людьми, и над нуждой.

Готовность ко всяким жертвам была как бы предчувствием их неизбежности – и скоро настала для обоих пора действительных жертв.

XI

Давно уже стоял Апраш со своей семьей на Стависском выгоне. Цыгане ковали, пока было что ковать, остальное же время отдыхали или скитались по окрестным деревням и усадьбам. Аза владычествовала в господском доме, Тумр думал об одной Мотруне.

В один весенний вечер Апраш стоял под отворенным окном барского дома, брови его были сурово насуплены, на лице изображалась досада. У окна сидела цыганка, грустная, бледная, измученная, и на глазах ее блистали слезы. Адама при ней не было. Она в глубоком раздумье смотрела на луну.

– Слушай, Аза, долго ли ты еще хочешь здесь оставаться? – спросил цыган голосом, полным упрёка, и с язвительной улыбкою.

– А почему я знаю! – печально отвечала девушка. – Ничто здесь не держит моего сердца, а как-то трудно собраться. Как бывает в пути, иной раз выищешь тенистое дерево, расположишься под ним на траве, да так засидишься на привольном месте, что потом и подняться не хочется. Не знаю, что со мною делается, иной раз возьмет такая тоска по нашему кочевью, а потом страшно становится нищеты и жаль этого тихого приюта, под которым столько людей родилось и умерло! Что-то непонятное привязывает человека к месту, я даже готова плакать: тошно мне будет оставаться здесь без вас, да и жаль будет этих серых стен, когда уйду с вами.

– Избаловалась, Аза, избаловалась, говоришь не по-цыгански, – сказал Апраш. – Пора нам подниматься, не то, пожалуй, все засидимся, да и работы-то уж мало становится, все перековали. Уж не жаль ли тебе твоего барича?

Старик горько засмеялся, стараясь скрыть гнев.

– А если и жаль? – спокойно возразила девушка. – Отчего ж не пожалеть? Для него, бедняжки, – словно слепой родился, – и свет Божий не существует, отжил жизнь прежде, чем борода выросла. Этакое бедное, хворое, жалкое существо, и подумать жалко! Что станет он делать без меня?

– Что? Найдет себе другую! – сказал старик, пожимая плечами.

– Другую? Нет, не найдет, – возразила цыганка, качая отрицательно головою. – Я одна понимаю его, знаю, чем его оживить и как его держать – другая не сумеет.

– Так ты думаешь оставаться! – прервал Апраш, и глаза его засверкали, как бы угадывая мысли девушки.

– Я?.. Остаться здесь? Разве ты меня не знаешь? – живо вскричала девушка. – Остаться с этим трупом... запертой в четырех стенах, чтобы он выгнал меня, когда я ему наскучу! Нет, старик, я брошу это богатство и пойду с вами. Да и надоело мне это житье... Что в нем?

День за днем все одно и то же, тянутся часы, что хромые лошади. Однако сказать тебе, старик: жаль мне будет этих хором, я вынесу с собою думу долгую, долгую, может быть, по самую смерть.

– Ох, мудреная ты девка! – сказал Апраш, качая головой. – Я всегда знал, что как только сложу шатер, ты все бросишь и босая пойдешь к нам! Ты настоящая ромонэ-дчай¹², не то, что Тумр.

– А что он?

– Назад тому неделя, как только кончился срок его заработка, бросил шатер, не кивнул даже головой за марно-та-лон¹³, за приют и науку.

– Пошел кочевать сам по себе?

– Куда! Влюбился, кажись, в какую-то здешнюю девчонку, да и хочет засесть в Стависках: только и ждет, чтобы мы убрались. Наша жизнь никогда не была ему по сердцу, в нем кровь гаджи, ему бы только сидеть да дремать!.. Но не так легко ему удастся, как думает: отец девки сам-то ромонэ-чал¹⁴, ни за что не отдаст дочки за цыгана, он уже, рассказывали мне, поклялся седыми волосами, что пока жив, не видать Тумру его Мотруны. Увезти девку не может, куда он с нею денется? Пропадет Тумр, пропадет, как джукал.

– А жаль его, старик, нам потеря.

– А нам-то что? Хочет пропадать, ну пусть себе привяжет к шее камень, да в воду, правда, прибавится нам заботы без его рук, зато спокойнее будет без его злости и упрямства. А ты, Аза, все-таки собирайся в дорогу, а чтобы убраться без беды, чтобы не было погони, брось все, что подарил тебе твой паныч, надевай свое старое лохмотье, да и в путь!

– Так, в путь, в путь! Вперед и вперед! – говорила цыганка, закрывая лицо руками. – Все вперед и вперед до последнего издыхания... пожалуй и до смерти!..

– Эй, баба! – с досадой крикнул Апраш. – Полно хныкать! Стыдно тебе, ты не гаджи! Повеселилась немного, пожила в холе и неге, будет с тебя! Пора расстаться с пуховиками – и в дорогу! В дорогу!

– Завтра, – с живостью произнесла девушка, затворяя окошко, – завтра!

– Помни же, завтра!..

ХП

На другой день, рано утром, Аза была еще в барском доме, а цыганский лагерь на выгоне был уже снят. Цыгане укладывались: дети подавали старику кузнечьи орудия, которые он укладывал в свой вурдэн¹⁵, женщины свертывали свои пожитки, безмолвная мать, по обыкновению, равнодушно смотрела на сборы. Много было хлопот, еще больше писку и крику.

С отдаленного холма Тумр наблюдал за движениями хорошо знакомых ему лиц, и какое-то непонятное чувство шевелилось в его груди: не жаль ему было старика Апраша и прочих цыган, единственных его родственников в целом мире, а между тем, в минуту расставания, когда он должен был остаться один-одинехонек, кровь заклокотала в его висках, и сильнее забилося стесненное сердце. Будущность предстала ему, мрачная, полная страшных тайн, как бурная осенняя ночь, в темноте которой свистят только вихри и мелькают привидения. Без куска хлеба, без приюта, без друга, Тумр все-таки решился остаться ради девушки, на которую не позволялось ему даже взглянуть издали.

¹² Ромонэ-дчай – цыганская дочь.

¹³ Марно-та-лон – хлеб-соль.

¹⁴ Ромонэ-чал – цыганский сын.

¹⁵ Вурдэн – повозка.

«Что будет завтра? – думал он накануне, засыпая в терновых кустах. – Кто знает? Может быть, умру с голоду, или поймают меня, как бродягу, или я терпением и упорством добуду себе кров и мирный приют?»

Надежда обещала немного, боязнь вызывала грозные привидения, грусть по уезжающим сжимала сердце, однако Тумр не торопился с места, когда заскрипел цыганский вурдэн, и только закрыл глаза и погрузился в какую-то сонную думу, которая не походила ни на сон, ни на действительность.

Апрашев вурдэн был уже за селом, когда через поля и огороды, запыхавшись, прибежала Аза в прежней цыганской одежде, лицо ее разгорелось от бега, она была безмолвна и мрачна.

– Ты здесь? – сказал Апраш с усмешкой. – А я было уже сокрушался по тебе.

– Как видишь, старик, но сжался надо мной, ступай живее, меня так и тянет назад, не смею оглянуться: и грустно мне, и больно... Ну, скорее в путь с цыганской песнью!..

– Гаджи!.. – с упреком произнес Апраш, погоняя ленивую лошадь. – Запой веселую песню, да завяжи глаза, а мы поможем, возьми флягу, глотни таргимому¹⁶, как раз от сердца отляжет.

– Тумр... где он?

– Друкалескро-чал, гаджискрират!¹⁷ Остался со своими гаджами! Пропадай он с ними!

Разговаривая таким образом, цыгане спустились в глубокую долину, и деревня скрылась из их глаз. Аза шла не оглядываясь, молча, и, как бы опасаясь погони, все ускоряла шаг, другие едва попевали за нею.

Вдруг послышался конский топот, всклубилась пыль, и всадник, обогнав Апрашеву повозку, подскакал к цыганке, которая даже не вскрикнула, когда он схватил ее за плечи.

– Что это значит? – прозвучал дрожащий, сильный голос пана Адама. – Что это значит?.. Аза, скажи мне, что это значит?

– Что?.. – холодно отвечала цыганка. – Просто мы идем на другое место.

– И ты идешь с ними?

– А мне оставаться, что ли, в твоей клетке?

– Ты не пойдешь! Я тебя не пущу.

Девушка дико захохотала.

– Непустишь? По какому праву?..

– Ты обещала остаться.

– Никогда! Никогда!.. Зачем мне оставаться?.. – прибавила она с расстановкой. – Чтобы через неделю ты выгнал меня или бросил, как объеденную кость, кому-нибудь из своих слуг, как бывало с другими?

Адам остолбенел.

– Я тебе дам, – сказал он, задыхаясь, – все, чего ты только захочешь!

– О, о! – возразила девушка, качая головой. – А если б я захотела от тебя обручального кольца?

– Ты смеешься?

– Может быть, ну, а если б захотела?

– Кольца желать не можешь, ты знаешь, что я его тебе дать не могу.

– Ну, не хочу я ни тебя, ни твоего кольца, ни твоего дома... ничего не хочу! А ты думал, что я долго уживусь в твоём доме, в этой клетке, замкнутая, как невольница? Нет, это житье не по мне, оно годно только для вас, маменькиных сынков, стариков без крови и сердца. Посмотрела и будет с меня! Счастливо оставаться, паньч! Апраш, трогай!

¹⁶ Таргимом – водка.

¹⁷ Собачий сын, чужая кровь!

Опять заскрипел цыганский вурдэн, Аза пошла впереди, а Адам долго стоял на одном месте, бледный, разгневанный, бессильный, долго перебирал он в своей голове сухие, холодные, мертвые, как осенние листья, мысли... Наконец он зевнул, поворотил лошадь и медленно, ворча себе под нос, потащился к своей усадьбе.

ХШ

Тумр остался один. Сначала он должен был скрываться от Лепюка, который проведал, что он бросил своих и скитался в околотке. К счастью цыгана, обывателям Стависок нужен был кузнец. Узнав о желании его поселиться у них, некоторые хозяева даже решились просить у пана на то позволения и, взяв с собою будущего кузнеца, отправились на барский двор. Но пан Адам в это время проклинал всех цыган на свете и клялся отомстить целому их племени. С гневом выслушал он просьбу крестьян и прогнал их всех.

Тумр был в отчаянии.

– Кончено! – вскричал он. – Теперь остается одно из двух – повеситься или бежать.

– Не торопись, – сказал войт, положив ему руку на плечо. – Не знаешь людей, так и не суди вперед. Не в пору сунулись, вот он и выгнал, что ж, подождем: пан погневается, погневается, да забудет. Посмотрит, как некому будет подковать его верховую лошадь, тогда на все согласится. Не унывай, дело еще уладится, а покамест послужил бы ты у меня.

Так и случилось. Пан Адам вскоре забыл и гнев, и цыган, и цыганок ради тридцатилетней француженки-гувернантки, сманенной у соседа. Некрасивая, немолодая вдова, – как давно и по ком она вдовела, никто не мог сказать, – очень ловко вела своего поклонника на привязи к самому алтарю. Войт улучил благоприятное время и испросил у пана позволения Тумру поселиться в Стависках.

Лепюк ужасно рассердился, когда узнал это. Он старался, сколько мог, вредить бедному цыгану, но не смел идти против воли пана и мира, воспоминание о собственном цыганском происхождении зажимало ему рот.

«А! – рассуждал он про себя. – Ему позволили поселиться у нас, посмотрим: пусть себе живет, но пока я жив, прежде черта съест, чем женится на моей Мотруне! Не допущу, чтобы цыганская кровь еще раз привилась к моей семье!»

Когда пришлось отводить место под избу и кузницу, Лепюк так мутил и хитрил, что место отвели цыгану за околицей, на пустыре, против кладбища. Сначала вызвались было миром поставить хату, но когда дошло до дела, Тумр скоро убедился, что кроме своих двух рук ему неоткуда ждать помощи. Он не роптал: дано ему то, чего он просил, клочок земли и позволение селиться, он больше не смел требовать, чтобы и того не лишиться.

Печально было отведенное ему место – совершенно место ссылки, почти на краю кладбища, далеко от деревни, так, что и голоса человеческого не слышать, неоткуда взять ни огня, ни воды, при будущей хате ни дерева, ни запасного клочка земли. Но для изгнанника, не имевшего ничего, и это было богатством. Когда настала ночь, Тумр лег на голой земле и все думал, как бы ему выстроить хату. Ни на чью помощь не мог он рассчитывать, никого не мог просить. Лепюк перешел ему дорогу.

На другой день встал он на заре и принялся осматривать свой участок. Он увидел обрыв горы: в голове его мелькнула мысль к обрыву прислонить хату, и радостная улыбка озарила его лицо. Глина для обмазки под рукою, но из чего сделать стену? Думал он, думал и наконец отправился к войту за советом. Хозяин уже собирался в поле.

– Ну, что скажешь, пан мастер? – спросил старик.

– Да, что сказать, пан, – отвечал Тумр, – кажись, ни от громады, ни от пана мне хаты не дожидаться, все завтра, да завтра, ничего из этого не будет.

– Не знаю, не знаю, – чуть слышно произнес войт. – Я сам думаю, что на завтра надеяться плохо. Ну, что ж ты думаешь?

– Да думаю сам строить себе хату.

– Сам? Как? Наймом?

– Пан войт знает, что у меня гроша нет за душою, две руки добрые, да и все.

– Да ты только положи одно дерево, увидят люди, что сам принимаешься, никто пальцем не поможет.

– Все равно... Что будет, то будет.

– Как же ты один справишься?

– Сколочу как-нибудь себе мазанку, место-то такое... Даже грех ставить хорошую избу.

– А лес тебе кто свезет?

– Сам притащу.

– О-го-го! – произнес войт. – Начинаешь говорить дело.

– Выхлопчи мне только, пан войт, позволение вырубить немного лесу, да дай какой-нибудь старый топор.

– Топора не пожалею, когда-нибудь его заработаешь. Где-то валяется у меня тупица, не то чтобы никуда негодная, а так себе – злот даст всякий, а позволение на порубку будет завтра. Но скажи по правде: точно ли ты думаешь один взяться за дело? Мне что-то не верится.

– А что же? Нечего ждать... попробую...

На другой день, утром, Тумр работал против кладбища: вырубал кустарник, копал, носил глину, очищал место для хаты. Человек, предоставленный самому себе, побуждаемый к труду нуждою, много может сделать – гораздо больше, чем мы думаем. Правда, на каждом шагу тратит он силы вдвое больше, чем нужно, зато и возвращается она ему втрое. Чудом выросла хата Тумра, каждое бревно дерева должен был он принести на плечах или притащить из леса, через поля и горы, сам отесать его, самоучкой дойти до каждой мудрости незнакомого дела. Когда старый топор его притуплялся, он должен был отправляться за две мили и за поправку его работать дня два у кузнеца, а между тем проезжие и прохожие крали у него лес, собранный в поте лица. Нередко и дождь портил его работу: промытая водою гора обваливалась, худо сплоченные бревна расхотелись и падали, сколько раз все строение валилось, прежде чем Тумр успел покрыть его. Одному Богу известно, сколько пота упоило эту землю, сколько тут было потрачено терпения и силы! Препятствия только возбуждали труженика к усиленной борьбе. Смеялись поселяне, глядя на медленно выходящую из земли мазанку, но, при всей своей неуклюжести, она была чудом изобретательности и труда. Тумр так привязался к своему делу, что забывал даже об отдыхе. Только два раза в день отрывался он от работы, чтобы выйти навстречу Мотруне, взглянуть на нее, улыбнуться ей, иногда обменяться парюю слов.

Последнее удавалось ему редко. Старый Лепюк зорко смотрел за дочерью. Не имея возможности выгнать цыгана из села, старик поклялся не выдавать за него Мотруну, хотя бы ей пришлось век сидеть в девках. Мотруна молчала, она не хотела раздражать отца, но когда приходили сваты, несмотря ни на увещания, ни на угрозы, она отпускала их ни с чем. Что ни делал Лепюк, ничто не помогало, на все был один ответ: «Не пойду!».

Однажды утром Тумр усердно работал над своей хатой, которая с каждым днем требовала более изобретательности. Подняв случайно голову, он увидел приближающегося к нему Лепюка; поравнявшись с избушкой, старик оперся на палку и устремил на труженика пылающие гневом глаза.

– Работай! – проворчал он после некоторого молчания. – Работай, тебе же будет на гибель. Не жить тебе здесь, цыганское отродье.

И в гневе продолжал вслух:

– Эй, слышь ты! Для чего сколачиваешь ты этот хлев?

– Для чего? Буду в нем жить, – спокойно отвечал Тумр, не отрываясь от работы.

– Что тебе вздумалось, на свою беду, приволочиться сюда? Мир ведь велик, много в нем места для вашей братии – слышь ты, эй?

– А чем я тебе мешаю? – отвечал цыган, – воздуху я твоего не выдышу, воды твоей не выпью, хлеба у тебя не выем, хватит на всех!

– Да зачем тебе было селиться непременно в нашей деревушке?

– Почему же мне в ней не селиться?

– Эй! Черт тебя побери, не прикидывайся простаком! Долго и с тобой растабарывать не стану, дело тебе говорят: ступай отсюда, иди на все четыре стороны, я куплю твою клетушку, только убирайся отсюда, не то...

– Не то что же?

– Да уж то, что тебе здесь не жить!

– Чем же я тебе помеха?

– Вишь, словно он ничего не знает. Эй, брат, выкинь из головы мысль о Мотруне. Говорю тебе, не будет в том проку, а честью не хочешь, так возьмут тебя черти.

Тумр молча принялся опять обтесывать кривой березовый брус.

– Слышишь! Возьмут тебя черти! – повторил Лепюк, взбешенный хладнокровием цыгана.

– Не знаю, кого прежде, – спокойно отвечал Тумр, – увидим!

– Увидим!.. Так ты не пойдешь отсюда?

– Не пойду я, не пойду, напрасно хлопочешь, хозяин.

Лепюк стукнул палкой в землю, стиснул зубы, отвернулся и поспешно удалился.

XIV

Через неделю хата была почти готова. Топор Тумра притупился; чтобы отточить его, он отправился по обыкновению к соседнему кузнецу и пробыл у него три дня. На обратном пути он невольно задумался о последнем своем свидании с Лепюком, об угрозах старика и о своих надеждах. Дойдя до поворота дороги к Ставискам, он вдруг увидел на вечернем небе синюю полосу дыма, уносимую ветром. Показалось ему, будто дым был как раз над тем местом, где стояла его хата. Он прибавил шагу – и стал как вкопанный: вместо своего будущего жилища он увидел груды дымящегося пепла.

Некоторое время стоял он неподвижно. Вид пепелища отнял у него всю бодрость, все мужество, крепко заныло его сердце и впервые со времен детства две крупные слезы покатались из его черных глаз, обжигая непривычные к ним щеки. Он стоял, скрестив руки, и смотрел, без слов, без мысли, почти как помешанный. Впрочем, эта немая, тяжелая скорбь была непродолжительна и перешла не в жажду мести, не в бешенство, а в решимость. Цыган поднял голову, вздохнул и быстро пошел к пепелищу. Он решил начать свой труд сызнова.

«Что раз сделал, сделаю и в другой раз, – рассуждал он про себя, – может быть, еще легче и лучше... а уж поставлю на своем. Покажу Лепюку – это ведь его дело – покажу ему, что меня не выкурить, как пчел из улья или комара из светлицы!»

С этой мыслью подошел он к самому пепелищу и стал осматривать, не осталось ли чего, что могло бы еще идти в дело. Тщетная надежда: огонь не пощадил ни кола, и в куче золы только дымились еще не совсем сгоревшие головни. Еще раз повел он вокруг себя печальным взором и бросился на землю под глинистым обрывом, который, накалившись от огня, рассыпался пылью. Он повесил голову и задумался. Шаги людей и шорох тащившегося по земле перевернутого плуга прервали его думу. Войт возвращался с поля со своими челядинцами. Поравнявшись с пепелищем, старик остановился и раскрыл рот, он не смел начать речь, угадывая, что происходило в душе цыгана. Тумр сам подошел к нему.

– Добрый вечер, пан войт! – сказал он.

– Не больно добрый для тебя, – отвечал войт с выражением сострадания. – Весь труд пропал понапрасну! Одна искра, и все ушло дымом!

– Не искра это виновата, а рука, что подбросила искру! – со вздохом возразил цыган. – Да что тут говорить, словами не воротишь прошлого, а мне не вешаться из-за этого!

– Что ж ты думаешь делать?

– Что?.. Завтра отправлюсь в лес и буду строиться заново.

– С ума ты что ли сошел? Где у тебя хватит силы?

– За силой дело не станет! – с уверенностью произнес цыган. – Думаю только, как бы мне огородиться, чтобы приятель не нажег мне опять угля, прежде чем я успею еще поставить кузницу.

Осторожный войт замолчал, даже не спросил, на кого падало подозрение в поджоге, впрочем, он очень хорошо знал, что речь могла идти об одном Лепюке.

– Так ты и в самом деле думаешь строить новую хату? – спросил он после некоторого молчания.

– Не дальше как завтра, – решительно отвечал Тумр, – благо я только что отточил топор: пойду завтра в лес.

– Помоги тебе Бог! – проворчал войт, погоняя волов и пожимая плечами, как бы хотел прибавить: славный был бы из тебя хлопец, жаль только, что цыган!

Тумр опять сел на пепелище, разгреб его дрожащей рукой, вынул из-за пазухи несколько картофелин, бросил их в золу и опять задумался. Картофель успел сгореть, а цыган не принимался за ужин, он все думал да думал. Наконец стало рассветать. С трудом поднялся он с места, усталый и разбитый, и, забросив топор на плечи, побрел в лес.

К счастью, место, назначенное ему для порубки на хату, было не так далеко, хотя и приходилось ему перебираться через два овражка и две горы.

По тропинке, которой он шел, повсюду видны были следы недавних его трудов, везде сохранились еще гладко убитые колеи от проволооченных по земле бревен, а около них валялись то недотесанные обрубки, то порванные жгуты или концы веревок.

Тумр прибрал теперь все эти остатки, чтобы пустить их в дело. Горесть его уже прошла, сменившись нетерпением приступить снова к работе – лучшему средству врачевания во всяком страдании.

Задумавшись, спускался он в лощину, как вдруг знакомый голос пробудил его:

– Добрый день, Тумр, добрый день!

Он оглянулся: в двух шагах от него стояла Мотруна, раскрасневшиеся глаза ее свидетельствовали о недавних обильных слезах.

– Добрый день, – с улыбкою произнес цыган, приближаясь к ней. – Что слышно?

– Разве ты не знаешь? Ходил ли ты к своей хате?

– Как же! Ночевал там при огне, – отвечал цыган, стараясь казаться веселым. – Что же делать? Сгорела, надо приниматься за другую.

– За другую? И опять одному? Да так долго ли себя во гроб вогнать! – сказала девушка с выражением глубокого участия.

– Бог милостив, не бойся, – весело отвечал цыган, – надо поставить на своем...

– А знаешь ли, отчего загорелась хата? – спросила Мотруна, устремив на Тумра испытующий взгляд.

– Знать-то не знаю... а догадываться можно: некому было поджечь ее, кроме твоего отца.

Мотруна печально опустила голову.

– Знаешь, – произнесла она тихо и осмотревшись кругом, – третьего дня Грыгор Скоро-богатый опять засылал ко мне сватов, отец отвел меня в комору и стал грозить, чтобы я не отсылала их с отказом, но я все-таки отвечала, что не пойду. Вечор он выбежал, как бешеный, взяв кресиво и трут. У меня так и замерло сердце: быть, думаю, беде... и пошла плакать в

огород. Спустя час вижу на горе, около кладбища, дым, тут высыпал народ, смотрит да кричит: цыганова хата горит! Никто и не думает тушить, только посматривают все на меня, а у меня, как я ни крепилась, слезы ручьем, так я и ушла скорее домой. Потом воротился отец, разгневанный, смотрю – весь трясется, словно бьет его лихорадка, лег, не поужинав, накрылся тулупом, и вот по сию пору не вставал, говорит, неможется ему.

Девушка глубоко вздохнула, помолчав немного, она продолжала:

– Ох, не на радость себе мы полюбили друг друга, а на горе и кручину, да, видно, так уж было суждено нам. Не взять же назад души, коли отдала ее. И какого еще ждать большего горя, коли отец не благословит и проклянет...

– Слушай, Мотруна, – сказал тронутый цыган, взяв ее за руку, – если боишься моей доли и отцовского проклятия, скажи только слово, хоть я цыган, а есть у меня совесть, не хочу губить тебя... уйду отсюда...

Мотруна устала на него свои черные глаза и, отирая передником слезы, повторила:

– Души назад не возьмешь, когда уж отдана, прошлого не воротить! Что Бог судил, того не миновать.

– Наградит тебя Господь за ласковое слово, – отвечал Тумр с глубоким чувством. – Не будешь жалеть о том, что полюбила меня. Я покажу, что у цыгана руки железные и воля железная, не сокрушат ее ни горе, ни люди. Видишь, я опять шел с топором в лес, примусь за новую хату и, даст Бог, построю ее и скорее, и лучше прежней: не пропадем!..

Говоря это, он хотел обнять девушку, но она взглянула на него со страхом и поспешно пошла тропинкой, которая шла в поле.

– Братья ждут обеда, надо спешить, – сказала она, удаляясь. – Твоя булка там под камнем, как всегда.

Цыган смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, тогда, забыв о хлебе, он пустился в лес, на работу. Опыт уже дал ему умение взяться за дело, которого у него не было, когда он приступал к постройке первой хаты, он и лучше выбирал лес и лучше обтесывал бревна, наконец, он отыскал тропинки, по которым прежде перетаскивал свои материалы. Но сколько бы опыт ни прибавил ему умения, сил и средств не прибавилось, и потому новая мазанка не могла бы выйти ни красивее, ни прочнее первой, он строил ее точно так же из обрубков разных родов и размеров, так же нескладно, только немного скорее.

Глазам не верили обыватели Стависок, когда через несколько времени после пожара увидели против кладбища груды заготовленного леса и обожженный бок горы, опять обращавшийся в стены. Прохожие останавливались и недоверчиво покачивали головами, им непостижимо было упорство цыгана. Старухи еще издали указывали пальцем на начатую мазанку и перешептывались между собою: «Недаром цыган, видно, знает!»

Решено было, что дело не обходится без нечистого, и мысль эта быстро распространилась по всему селу. Самой даже Мотруне, хотя она и покачивала недоверчиво головою на такие речи, стало страшно, впрочем, ненадолго, потому что любовь всегда и все сумеет объяснить, как ей хочется.

Старик Лепюк между тем лежал больной и осыпал дочь ужасными проклятиями, как только она показывалась ему на глаза. Он не смел даже никого спрашивать о цыгане: так бесила его мысль, что он, пожалуй, останется на селе, несмотря на поджог хаты.

Раз как-то, в воскресенье, зашли к нему в гости два соседа. Сев у постели больного, они расспрашивали его о причинах его хворобы и советовали каждый по-своему обратиться к жидовке-лекарке, к бабе-знахарке или употребить те или другие средства. Лепюк все слушал да молчал. Несколько погодя он приподнялся, послал за бутылкой водки и выпил два стаканчика, глаза его заблестели, он сел на койке.

– А что слышно на селе? – спросил он сиплым голосом.

– Да известно, что слышно, – сказал Скоробогатый, – то же, что и всегда, хлеба немного, а горя вдоволь!

– А что не расскажешь ему про цыгана, – перебил другой, – есть что послушать!

Лепюк затрясся и дрожащей рукой еще раз схватился за бутылку.

– Цыган! Цыган!.. – сердито проворчал он, осматриваясь кругом. – Говорите же об этой негодной твари, коли начали. Что он, все еще на селе?

– И не видать, чтобы он убирался, – отвечал Скоробогатый. – Говорят, знается с нечистым, да на то и похоже. Думали, сгорела его землянка, он плюнет и уйдет из Стависок, а нет: уж другую почти что поставил.

– Бынческро чаво! – вскричал Лепюк, вскочив с койки, с яростью истого цыгана.

Он, очевидно, не помнил себя от бешенства, в другое время он никак бы не позволил себе произнести цыганское слово. Неловко стало ему; когда он опомнился, опустившись на койку, он с беспокойством, украдкой посмотрел на гостей, стараясь угадать, заметили ли они его промах. Дрожь так и била его, но он силился улыбнуться.

– Нечего сказать, упряма, как черт, ваш цыган! – сказал он с притворным равнодушием. – Другой и думать не посмел бы! Нагляделся я, как он один таскал из леса бревна, казалось, вот сейчас глаза выкатятся из лба, а кровь хлынет носом, а он, вишь ты, принялся в другой раз! Подлинно бесовское упрямство!..

В то время, как больной с усилием произносил эти слова, глаза его пылали гневом, грудь сильно вздымалась, руки тряслись, как в лихорадке.

– Эй! Ложись-ка лучше, сосед! – сказал Скоробогатый, вставая. – Ты еще больно плох! С болезнью шутить уж кому другому, а нам, старикам, не годится.

Уложив больного, гости ушли. Вечер прошел в мрачном молчании. Наступила ночь, все уже собрались спать, а старик стал ужасно стонать.

Дочь прибежала к нему, но он оттолкнул ее с проклятием и с усилием кликнул старшего сына. Тотчас была зажжена лучина, и все в доме – сыновья, работники, бабы, ребятишки вскочили на ноги и бросились к больному.

– Что с тобою, отец? – спросил старший сын, подходя к нему.

– Что? – произнес Лепюк, повторяя вопрос по обыкновению крестьян. – Знать, пришел мой смертный час! Добро бы еще была пора, а то до срока приходится умирать! Янко пусть едет за попом, а ты слушай, что я тебе скажу.

Больной, осмотрев избу, грозно крикнул:

– Вон, бабы!

Женщины ушли в сени, а Лепюк, оставшись с сыновьями, продолжал:

– Вы знаете, что Мотруна полюбила того цыгана. Я сжег его хату, да не помогло, слышу, он строит другую, плюет на меня. Я сам цыганского роду, – прибавил он, понизив голос и оглядываясь, – не хочу еще родниться с цыганами, чтобы народ пальцем указывал на нашу семью. Не отдайте сестры за цыгана, хоть бы заливалась слезами и валялась у ваших ног... хоть бы даже умирала! Слышите? Не отдавайте! А коли заупрямится, так вы ее, как собаку, кочергой выгоните со двора, не смейте ей давать ни рубашки, ни гроша денег в приданое, ничего! Я так приказываю, слышите?

– А если господа ей позволят, – боязливо спросил старший сын, – что тогда делать?

– То же, что приказываю. Захочет идти на гибель и на позор – пусть идет, но она вам тогда не сестра и мне не дочь. Вон ее!..

Долго еще говорил старик, а Мотруна, притаившись за дверью и заливаясь слезами, слушала и не смела даже вздохнуть, только бессознательно повторяла: «Ох, доля моя, доля горемычная!» К полуночи приехал священник, а к утру Лепюк стал метаться на койке в бреду горячки, то он пел какие-то незнакомые песни, то отдавал приказания или вел разговор, и все по-цыгански, казалось, он не находил других слов, кроме слышанных им в детстве. Может

быть, он и сам чувствовал, что выдавал свой род, который всегда так старательно таил, казалось, собственная речь раздражала его, он силился ее удержать, но не мог. Всех присутствующих пробирала дрожь при виде его страданий. Наконец силы его истощились, глаза закатились, у рта показалась пена, тяжкий, громкий, пронзительный стон вырвался из разбитой груди. Лепюк умер.

Крик и вопль раздался в хате и разбудили даже соседей. Мотруна одна стояла неподвижно в сенях, словно прикованная к стене, и заливалась слезами, но без стонов и рыданий, как бы боясь еще, чтобы не услышал отец, и только шепотом повторяла: «Ох, доля моя, доля!»

Когда наступил день, с трудом заставили ее братья и невестки приняться за обычные занятия. В крестьянском быту самая тяжелая скорбь не освобождает от работы. Так судил Бог, затем, конечно, что труд лучшее врачевание в скорби.

XV

Скромная хата у кладбища, хоть и медленно, а подвигалась, уже стояли столбы, ряды кольев образовали стены, которые оставалось только обложить глиной, кривые косяки указывали место будущих двери и окна.

Тумр уже перетащил все свои материалы и неутомимо трудился над своим сооружением. Сноп соломы, разбросанной на нескольких жердях, защищал его от дождя, и хата служила ему временным приютом. Только в условные часы выходил он на полевую дорогу поджидать Мотруну, но, редко встречаясь с поселянами, он ничего не знал ни о болезни, ни о смерти Лепюка, и отсутствие девушки приписывал ее страху перед отцом.

Однажды, под вечер, послышались ему похоронное пение и плач, приближавшиеся по дороге к кладбищу. Не одни уже похороны проходили перед его хатой. Он в таких случаях должен был оставлять работу и стоял с непокрытой головою, прислонившись к стене. И теперь топор его остановился, он отошел на несколько шагов и, скрестив руки на груди, с суеверной тревогой смотрел в лощину, из которой начинали уже показываться верхушки разноцветных хоругвей, а среди них одна черная с белыми блестками и с изображением мертвой головы. Печальный поезд подвигался медленно. Впереди шли со свечами братчики¹⁸, за ними дьячок и священник, потом два серых вола лениво тащили в гору на простой телеге белый крестьянский гроб, на котором лежал ломоть черного хлеба, завернутый в грубый рушник – хлеб последнего прощания!.. За телегой шли в глубокой горести два брата Мотруны и она сама. При виде поверженной в печаль семьи Лепюка замерло сердце Тумра, он побледнел, угадывая, что не стало его врага. Полудикое его сердце мало было доступно состраданию, чувство удовлетворенной мести почти радостно заговорило в его душе, вскоре, однако, ему стало стыдно этого чувства, и он спрятался за угол своей мазанки. Погребальное шествие остановилось против самой хаты Тумра, но Мотруна и не взглянула на нее. Сняли гроб с телеги и понесли на руках на кладбище.

Во время последнего обряда Тумр не слышал ни пения, ни стонов, он совершенно отдался надежде, мысли о достижении цели. «Старика уже нет, – повторял он мысленно, – братья не станут упрячиться, войт мне поможет, она будет моею! Только бы мне кончить хату...»

Не заметил он даже, как засыпали землею бранные останки Лепюка, как заскрипела телега и разбрелся народ. Когда он опомнился, на кладбище была глубокая тишина, прерываемая лишь карканьем ворон. Какая-то непонятная душевная тревога понуждала Тумра к работе,

¹⁸ Во время утверждения Унии в Западной России образовалось братство (общество) для противодействия нововводимому учению. Члены братства назывались *братчиками* и все были знатные люди. Как защитники веры, они причислялись к клиру и потому участвовали во всех церковных церемониях. Когда потомки знатнейших родов приняли новое учение и православие осталось в низшем классе народа, звание братчика перешло в этот класс и сохранилось в нем до сих пор, ныне оно дается лицам, пользующимся общим уважением и доверием.

он схватил топор и выбежал из-за угла. Мимоходом бросил он быстрый взгляд на кладбище: там никого уже не было, только свежая могила против ворот и свежие следы колес и людских ног по дороге свидетельствовали, что он не во сне, а наяву видел похороны.

Не видя никого, цыган уже занес топор, чтобы приняться за работу, как вдруг услышал тихий голос, приветствовавший его. Оглянувшись, он увидел войта, который стоял около него, опершись на палку.

– Ну что, Тумр, все работаешь да работаешь, не отдохнешь даже! – сказал старик.

– Надо работать, пока есть силы, пан господарь, начал дело – так кончай, говорит наша цыганская пословица.

– А мы тут пришли не в пору со своим посещением, – продолжал Лях, кивая головою, – принесли тебе соседа, которому ты, чай, не больно будешь рад по ночам!..

Цыган немного смешался, но хотел показать, будто и не знал, кто умер.

– А кто же умер? – спросил он.

– Будто не знаешь?.. Лепюк умер и, кажись, прежде сроку. Рассерчал больно, и себя мучил, и Мотруну мучил, да вот и не выдержал.

Цыган потупил голову и молчал.

– А таки от своего не отступился по самую смерть, – продолжал Лях, – перед смертью, говорят, настрого наказывал сыновьям, чтобы не отдавали сестры за тебя.

Тумр вздрогнул и поднял голову.

– Правду ты говоришь? – спросил он с беспокойством.

– Сущую правду, мне рассказывала соседка, которая стояла в сенях и все слышала, как он наказывал сыновьям. Ну, что ты на это скажешь?

– Что скажу?.. Не испугался отца – не испугаюсь и сыновей... Что Бог даст, то и будет, а я должен делать свое.

– Эй, бросил бы лучше! – сказал войт. – Хату свою отстрой себе, да ставь кузницу, а хозяйскую дочку уж оставь в покое, братья тебе не позволят, ну и вся громада будет за них. Разве взять ее силой?..

– Кто ж берет жену силой! – вскричал Тумр. – Это у вас невиданное дело, да и куда мне бежать с нею?.. Лучше и не говорить об этом, хозяин.

Войт понял, что ему не убедить цыгана, и только пожал плечами.

– Пусть будет по-твоему: не станем говорить об этом. Не хочешь доброго совета, Бог с тобой!.. Как постелешь, так и спать будешь, а я тут сторона. Но вот и месяц всходит, пора мне домой! Доброй ночи!

– Доброй ночи! – отвечал Тумр и опять принялся за работу.

Солнце давно уже зашло, месяц лениво поднялся на небе, а Тумр все работал. Работа была для него потребностью, она не давала ему думать, спасала от тоски и томления, спать он не мог против свежей могилы, которая беспрестанно торчала в его глазах, представлялась ему везде, куда бы он ни обернулся, и принимала тысячи разных образов.

Всю ночь работал Тумр, содрогаясь при малейшем шорохе в ветвях вербы: то слышался ему хохот умершего – и мороз пробежал по его телу, то больному его воображению виделось, будто встал Лепюк из могилы, а с ним тысячи других покойников ему на помощь.

Самая тишина ночи, среди которой так таинственно отдавался каждый удар топора, пугала Тумра. Пот струился по его лицу, силы его истощались, затуманилось в глазах, и среди мглы запрыгали желтые могилы. Он все рубил, рубил без остановки, только когда солнце показалось на туманном востоке, он бросил топор и без памяти рухнул на землю.

Когда он очнулся, солнце ужасно палило, а вдали завывала приближающаяся буря. Передовой ее вихрь гулял на взгорье, и он-то, навевая прохладу на грудь Тумра, прервал его лихорадочный сон. Взглянув на небо и чувствуя дрожь и жар, Тумр поспешил укрыться под соломен-

ную крышу и опять повалился на кучу сухой травы, он чувствовал, что железная рука болезни теснила ему грудь и голову.

Вчерашние происшествия – похороны, разговор, ночные грезы – все перепуталось в его голове. «Умирать, так умирать, – подумал цыган, бросаясь на землю, – лучше смерть, чем такая мука!»

И опять пошли грезы. Мысли, как буря на небе, забушевали в его горячей голове. Время и место исчезли из его сознания, и перед ним раскрылась целая жизнь, дивная, невыразимая, и сладостная, и мучительная, длинный сон, сотканный из земных воспоминаний и небесных видений. Чего тут не было! И горькая молодость, и цыганские песни, и жалкие образы ромов, и пляска Азы, и стук Апрашева молота, и пар цыганского котла, и скрип вурдэна, и Мотруна, и старый Лепюк, похороны, свежая могила, ночь, пожар и какие-то незнакомые образы, страшные и прекрасные, и невыразимо сладкие надежды, и все, чем мила жизнь и о чем говорит наступающая смерть... Казалось ему, будто он умирает, но не может умереть, будто он в одном гробу с Лепюком, а в грудь его вколачивают осиновый крест и не могут вбить, потому что клокущая кровь выбивает его.

Потом стало спокойнее в его душе: страшные видения исчезли, все вокруг больного облеклось в непроницаемую мглу, и тишина могилы осенила его своим холодным крылом. Когда он открыл глаза, ему снова показалось, будто он спит. Мотруна вся в слезах, наклонившись над ним и с беспокойством ловя слабые признаки жизни, подносила кружку к его иссохшим губам. Несколько глотков воды укрепили больного, в глазах его стало светлее, он мог даже приподняться. Мотруна говорила с ним, но он еще не понимал. Слова ее звучали для него сладостною песнью, которой он не мог уловить.

– Тумр, – говорила девушка, – что с тобой, Тумр?

– Что со мной? – отвечал он, стараясь припомнить прошедшее, – ничего... видел похороны... потом всю ночь работал, потом заснул... и снились мне все бури, могилы... и не знаю, как долго спал.

Девушка всплеснула руками.

– Уж третий день, что мы похоронили отца, – вскричала она. – Ты болен, три дня лежал без памяти.

– Болен? Может быть... – слабым голосом произнес Тумр, – что ж делать?... Либо голод и сон одолеют болезнь, либо она сломит человека.

– Я пойду к барыне, – перебила девушка, – она не даст человеку умереть без помощи, она знает, чем помочь.

Тумр не отвечал, тупой, бессмысленный взгляд его еще более испугал Мотруну, она поспешно встала.

– Вот тебе вода и хлеб, – сказала она, – а я сбегая на барский двор. Если и там не захотят помочь тебе, я приду одна, пусть братья хоть убьют меня, а я тебя не покину.

И девушка пустилась через поля и огороды к усадьбе, думая только о том, как и к кому обратиться с просьбой, и не заметила, как случай привел ее прямо в господский сад.

В усадьбе жил еще пан Адам, но уже женатый. Сманенная им гувернантка, мадам Леру, живо повела дело, и он не успел оглянуться, как был уже мужем. Много произошло перемен в усадьбе, которую пани забрала вместе с мужем в свои мощные руки. Хотя прошло уже несколько месяцев с первого дня его счастья, а пан Адам все еще был страстным обожателем и покорнейшим слугою своей жены. Этим постоянством он был обязан глубокому сердцеведению своей жены и умению ее управлять людьми. Действительно, она была искуснейшая актриса, самая хитрая из женщин, самая пронырливая из гувернанток, пригоняемых к нам бедностью или надеждами из Франции. Испытав многое на свете, приглядевшись вблизи к людям, она знала и свет, и людей в совершенстве. Иной показалось бы невозможным делом удержать такого человека, каков был пан Адам, для нее это было шуткой. Она привязала его

к себе или, вернее, управляла им посредством искусного разыгрывания страстной любви, пан Адам считал себя обязанным благодарностью за такую любовь и выражал эту благодарность совершенною покорностью. Впрочем, не все было одним притворством в его жене.

Вспомним, что действие нашего рассказа происходит много лет назад – и мы поймем мадам Леру. Это был остаток тех сомнительных женщин, которые, следуя моде, не могли жить без так называемой экзальтации чувств и ради этой экзальтации убивали в себе всякое действительное чувство. Пани Адамова вечно кружилась в сфере д'арленкуровских героинь и в действительности видела повсюду то, что вычитала из книг. Роман был для нее потребностью, насущной пищей, погоня за чувствами – целью жизни. Сердце между тем оставалось спокойным и холодным, потому что это была блажь ложно настроенного воображения.

В это самое время, когда Мотруна прибежала в господский сад, пани Адамова ходила над рекой с книгой в руках, вздыхала над трогательными приключениями какой-то незнакомки, а отчасти и над прозаичностью собственной помещицкой жизни. Шелест листьев пробудил ее от думы.

Не знаем, ожидала ли она, что из-за кустов явится рыцарь и падет на колени с пламенной речью пред ее перезрелыми прелестями, в могуществе которых она, конечно, не сомневалась, как бы то ни было, но она очень удивилась, увидев деревенскую девушку, бежавшую к господскому дому в очевидном страхе и беспокойстве.

Мотруна была в самом деле очень хороша, а волнение придавало еще большую прелесть ее красоте. Француженка, подозревая нечто похожее на сентиментальный роман, а пожалуй, и приплетая к нему пана Адама, остановила девушку. В многолетнее свое пребывание на Вольни она успела достаточно выучиться местному языку и потому могла приступить к допросу скорбной красавицы.

Мотруна умоляющим голосом принялась рассказывать о цыгане, потом на вопрос своей барыни должна была рассказать и о себе, о их знакомстве и любви, о смерти отца и болезни Тумра. Француженка слушала ее с напряженным вниманием, наткнуться в действительности на несчастных любовников, на угнетаемую любовь, словом, на целый роман, хотя и в грубых, деревенских формах – с героем цыганом и героиней крестьянкой – было лакомством для ее сентиментального воображения.

Закрыв книгу и забыв даже заложить страницу, она схватила девушку за руку и побежала с нею в покой. Пан Адам по обыкновению дремал после обеда, стук стеклянной двери разбудил его, он выслушал поспешный рассказ жены, ничего в нем не понимая, и только бессмысленно смотрел то на нее, то на плачущую девушку. Тем не менее, однако, он согласился на все, чего желала его милая Фанни. Тотчас же была послана за цыганом телега, нарочный поскакал в город за доктором, а слуги заматались, как угорелые, проклиная и ругая бродягу, из-за которого так тревожили их покой. Солнце не успело еще зайти, как Тумр лежал уже на мызе. Мотруна сидела у его изголовья, а подле стояла сама пани с доктором.

По мнению доктора, больной занемог от истощения сил, вследствие лишений и чрезмерного труда. Молодость и крепкое сложение сильно боролись с недугом, и ему нужно было только немного душевного и телесного спокойствия и подкрепления, чтобы встать на ноги.

XVI

Чувствительная Фанни принялась со всем рвением своего романтического сердца за устройство судьбы двух влюбленных, так как для поправления расстроенного здоровья мужа, а еще более для свидания с Францией и с милым Парижем требовалась безотлагательная поездка за границу, то она очень спешила с предпринятым делом, решившись непременно покончить его до своего отъезда.

Как только доктор объявил, что Тумр вне опасности, она приказала позвать братьев Лепюков. Они пришли, недовольные и сумрачные, не зная, что будет, но смекая в чем дело, потому что все село говорило о милости господ к цыгану. Пан Адам не хотел, а супруга его чувствовала себя не в силах повести с ними речь, а потому их принял капитан Гарасимович, прибывший в Стависки вскоре после свадьбы пана Адама и всем у него заправляющий.

Несколько слов о пане капитане не обременят читателя. Это был отставной офицер, раненый в какой-то кампании против турок, мужчина средних лет, богатырского роста, цветущего здоровья и довольно приятной наружности. Было у него где-то по соседству именице, состоявшее из двух хат, но он отдавал его в аренду, а сам кочевал по окрестным помещикам, с одним охотился, с другим играл в карты, с третьим кутил. Был он посредником во всех спорах и секундантом на всех дуэлях, претендентом на руку каждой молодой девушки, непременным гостем на всех именинах, словом – он был некоторым образом приживалом, и только собственное имение, хотя и очень небольшое, давало ему нечто вроде независимости и позволяло до известной степени поднимать нос.

Кроме вышперечисленных занятий капитан торговал борзыми, ружьями и всем, что у него было, у него всегда бывали хорошие вещи, как бы приготовленные на случай. С мадам Леру он был знаком с давних лет, злые языки даже поговаривали кое-что насчет их дружбы, достоверно только то, что вскоре после свадьбы и он появился в Стависках, занял квартиру во флигеле, перевел сюда свою псарню и стал распоряжаться, как дома. Пан Адам поговаривал даже об отдаче имения в его управление на все время своего пребывания за границей. Ленивого, всегда скучающего пана Адама забрать в руки капитану было нетрудно, а с его женой они как будто стакнулись и очень дружелюбно делили между собою распоряжение помещьем и самим помещиком.

Капитан имел очень высокое понятие о своих способностях, своем роде, ловкости и вообще о всех достоинствах, которыми наградила его природа. С истинным видом громовержца вышел он к Лепюкам, с длинным чубуком, которого один конец был в губах, а другой волочился по полу, подперши руки в бок, в полной уверенности, что скажет он слово – и никто не пикнет.

– Ну, – произнес он, садясь на лавку на крыльце против мужиков, – знаете, зачем вас сюда призвали?

– Не можем знать, – отвечали Лепюки, низко кланяясь.

– Ну, так вот зачем, – сказал капитан, улыбаясь, – слушайте!

– Слушаем, – произнесли братья.

– Господа хотят, чтобы вы отдали вашу сестру Мотруну за того цыгана, что поставил здесь кузницу, так им угодно и так должно быть.

Лепюки молча переглянулись, потом старший выступил вперед, отвесил новый поклон в землю и, крепко сжимая в руках баранью шапку, сказал:

– Мы, пан капитан, и не противились бы, коли такая панская воля, да одно есть большое препятствие.

– Какое? – крикнул капитан.

– Да как мы пойдем против воли покойника? Он не хотел и настрого нам наказал, чтобы не отдавали Мотруны за этого бродягу. Слово отцовское, – сын должен повиноваться, а не разбирать.

Капитан, всегда считавший нравственность необходимой для простого народа, но необязательной для себя, презрительно улыбнулся.

– Какое тут дело покойнику! – вскричал он. – Умер и царствие ему небесное, а вы делаете, что приказывают.

– Да как же, когда мы ему обещали?.. – возразил старший Лепюк.

– А с чего вы взяли обещать то, чего не властны исполнить? – закричал капитан, разгораясь. – Девка хочет идти за него, господа согласны и приказывают, а вы станете противиться!

– Мотруна не посмеет идти против воли отца, – возразил младший Лепюк.

– Молчать! – крикнул капитан, стуча трубкой. – Смеешь ты у меня рассуждать! Приказано, ваше дело исполнять господскую волю.

Братья переглянулись, немножко испуганные вспыльчивостью капитана.

– Но, – начал было старший.

– Без всяких но! Знать ничего не хочу, делайте, что вам велят. Давайте, что следует за Мотруной, и справляйте свадьбу.

Меньшой Лепюк смело поднял голову и сказал:

– Когда приказывают господа, мы противиться не можем, не о чем и рассуждать. Но для нас воля отца – святое дело, а он перед смертью сказал, что если Мотруна пойдет за цыгана, то она ему не дочь, а нам не сестра. Господа пускай делают, что хотят, а мы справлять свадьбы не будем и ничего ей не дадим, хоть вы нас наказывайте, как знаете.

Сказав это, Лепюк замолчал, а капитан, взбешенный неожиданным отпором, вскочил с лавки.

– Ты смеешь еще говорить, – закричал он, – смеешь противиться панской воле?! Вот погоди... Да ты знаешь ли, чем это пахнет?

Молодой Лепюк не дрогнул, в лице его не было ни малейшего признака боязни или смущения, он спокойно смотрел на пыхтевшего от гнева капитана, но в этом взоре высказывалось столько твердой, непоколебимой воли, что Гарасимович почувствовал себя побежденным и, не зная, что делать, пробормотал только:

– Ступайте и делайте, что приказано. С тобой же мы иначе разделаемся, – прибавил он, грозя меньшому Лепюку. – Ступайте.

Братья поклонились и ушли, капитан же, несколько успокоившись, отправился в гостиную, где пани встретила его с глазами, горящими любопытством.

– Ну что, любезный капитан?

– Ничего! Мужики, как все мужики: поартачатся, а все-таки сделают, что им велят.

– Так они не соглашаются?

– Да что их слушать! Отец, умирая, наказал, чтобы не выдавали сестру за цыгана, – отрекется от нее, все вздор. Как прикажете, так и будет сделано.

– Да если они не захотят?

– Будто их спросят, хотят ли они, нет ли? Вы приказываете – и кончено.

– Но я не желала бы употреблять во зло свою власть! Мне хотелось бы, чтоб это уладилось кроткими средствами, ласкою...

Капитан пожал плечами.

– Какие тут кроткие слова да ласка?

Чувствительная француженка опустила в кресла и закрыла лицо руками.

– Ах, капитан, это ведь варварство! Я этого не хочу и не позволю, не допущу никакого принуждения.

– Ну, так делайте как сами знаете, – отвечал капитан, пожимая плечами, – я не мешаюсь.

– Вы должны сделать то, чего я хочу, – вспыльчиво закричала француженка, топнув ногой. – Верните их и постарайтесь уговорить – ласкою, обещаниями, деньгами, чем хотите, только не...

– Помилуйте, пани, я этого сделать не могу: верни я их только, да они так задерут головы, что и не справишься! Завтра я, пожалуй, поговорю с ними. Погодите до завтра.

Разговор был прерван появлением пана Адама, который, зевая, пришел напомнить, что пора пить чай. Мы оставим их за чаем, а сами перенесемся в село и посмотрим на возвращавшихся туда Лепюков.

У корчмы собралось несколько лиц, пользовавшихся в селении большим уважением. Все знали, что Лепюки были позваны к господам, и с нетерпением ждали, чем кончится дело. Все поселяне, разумеется, держали сторону Лепюков, как по врожденному нерасположению к цыгану, так и потому, что в оказываемом ему покровительстве видели непривычное им вмешательство в их домашние дела.

Еще до возвращения Лепюков в кружке ожидавших шла воодушевленная беседа о затаемом браке и его последствиях.

– Что это? – говорил Скоробогатый, поправляя пояс и по обыкновению подпрыгивая на одной ноге. – Всякий бродяга станет брат у нас из-под носу невест и хозяйничать на нашей вотчине! Такого сраму еще не бывало на Стависках! Какое дело пану, что делаем мы со своими детьми? Они – наша кровь, и мы за них отвечаем одному Богу.

– Так, так, твоя правда, – тихо произнес трусливый Сымяха, – только ты, брат, так не кричи, неравно кто услышит. Тише! Тише!.. А вот и Лепюки, пойдем лучше к ним в хату, а то перед корчмой опасно: кто-нибудь из дворни подслушает, тогда беда нам!

Скоробогатый пожал плечами, но принял совет, все пустились за ним к хате Лепюков, куда с понуренными головами пришли и сами хозяева.

– Ну что? – с любопытством спросил Скоробогатый. – О Мотруне дело?

Братья, нуждаясь в совете опытного человека, рассказали ему весь свой разговор с капитаном и последнюю его речь. Младший повторил все, что сказал ему капитан в минуту горячности.

– Ладно, хлопец, так и следовало! – начал Скоробогатый. – Вы так и делайте, поверьте, господа разумеют, ханцузка-то испугается, а капитан... Э, славны бубны за горами!.. Он разве пан? Ничего не будет!

– Ну, а как захотят поставить на своем?

– Захотят – так пусть выдают девку за кого угодно, только, коли выдадут за цыгана, все село отречется от нее с ее цыганом: никто с ними слова не промолвит, никто руки не подаст, никто их знать не будет... Вот что!

Вся громада подтверждала каждое слово Скоробогатого.

– Так, так, пусть сидят в своей мазанке на кладбище, коли им весело там, а в село и глаз не показывай – собаками затравим!

– Вишь, поганый вздумал отбивать у нас невест!

Лепюки, поддерживаемые громадой, стали еще непреклоннее прежнего и поклялись не отдавать сестры охотю. Потом они вошли в хату, не говоря ни слова Мотруне, но мрачные, как ночь.

Девушка догадывалась, что делалось в селении, она видела, как братья отправлялись в усадьбу, видела, как они совещались со Скоробогатым, понимала, какое могло быть решение, но должна была показывать вид, будто ничего не знала и ни о чем не заботилась. Как младшая в семье, она должна была нести самые тяжелые работы в доме, братья беспрестанно бранили ее, она молчала и плакала. Она не могла видеться с цыганом, потому что с нее не спускали глаз и даже на барщину посылали за нее другую, чтобы не дать ей возможности забежать на мызу.

На другой день, вечером, Лепюков опять позвали в усадьбу, капитан, согласно новой инструкции, вышел к ним с приветливой улыбкой.

– Ну, – сказал он, – надумались со вчерашнего дня? Полно артачиться. Мотруна должна выйти за цыгана, а вы устройте приличную свадьбу.

Лепюки поклонились в землю. Вольнский мужик, хотя и не намерен повиноваться, все-таки кланяется – такой уж у него обычай.

– Как угодно господам, так и сделают, – с покорностью и почтением произнес старший брат. – Но мы свадьбы справлять не будем, отцовского завета нарушать не станем, как уже вчера докладывали вашей милости.

Капитан посмотрел ему в глаза и увидел тот же спокойный, но непреклонный взгляд, что и накануне, и прочитал в нем отпор человека, сознающего свое бессилие, но готового ко всему и ожидающего только приговора, с твердой решимостью не поддаваться ни угрозам, ни просьбам, ни страданиям. На этот раз пан Гарасимович не расшумелся, а напротив, усмехнулся, хотя и досадно ему было.

– Будь моя воля, – сказал он с расстановкой, – совсем не так повел бы я дело... Ваши господа слишком мягки и милостивы, не хотят принуждать вас! Да бог с ними, их воля!.. Скажу вам еще от ваших господ: они принимают на свой счет свадьбу, дают за Мотруной приданое и вас самих наградят, только вы сделайте, что им угодно.

Лепюки опять поклонились в землю.

– Благодарим покорно за господскую милость, – отвечал старший, – но не можем идти против воли отца.

Капитан едва удерживался, чубук уже вертелся в его руках. – Пани даст вам по паре волов, только сделайте ей угождение... Слышите?!

Лепюки переглянулись, старший, поклонившись и вздохнув, сказал:

– Что же нам делать?.. Отец наказал.

– А черт вас возьми! Так и этого не хотите? – крикнул капитан.

– Воля господская и Божья! – сказал опять старший.

Напрасно капитан еще просил, грозил, кричал, сердился, предлагал денег – ничто не помогло. Лепюки стояли на своем и ушли, приготовившись перенести все, что пошлет судьба. Громада единогласно была за них, и трудно сказать, какое сочувствие возбудил в ней этот, по-видимому, столь незначительный случай. Чем сильнее настаивали господа, тем упорнее были братья, а из всего вышла еще сильнейшая ненависть крестьян к цыгану.

Убедившись наконец, что иных средств не оставалось, барыня приказала взять Мотруну во двор и сама занялась приготовлением свадьбы, желая непременно кончить все до отъезда за границу.

Зато как печальна была свадьба! Вина, пива и всякого угощения было в изобилии, но гостей не было: из села не пришел никто, братья не показывались, ни одна девушка не хотела быть дружкой, ни один парубок не пошел ни в сваты, ни в маршалки, все свадебные чины пришлось набирать из чужих людей, из дворни. Громада упиралась.

Кроме господ никто не благословил невесты, из отцовского дома она не получила ни платка, братья спрятались, чтобы не встречаться с нею. Тумром овладевало отчаяние при виде ожидавшей его жизни, он готов был бежать и отказаться от своего счастья, но слезы Мотруны, боязнь отдать ее на месть родным и, наконец, любовь удержали его.

Девичник прошел без песен, каравай был испечен на господской кухне без тех обрядов, с какими обыкновенно месят и пекут его подруги, в церкви было пусто, в селе пусто, а плясали вечером дворня и пьяный сброд. Ни одной души родной, некому даже приласкать, ободрить сироту. Бедняжка заливалась горькими слезами, будущность представлялась ей в невыразимо страшных образах. Цыган сидел прямо, так же погруженный в тяжелую думу, только по временам под навислыми бровями сверкали его черные глаза.

XVII

На другой день после свадьбы пан Адам с женой отправился за границу, оставив управление имением капитану. Пани уже забыла о новобрачных: связав нежную чету неразрывными узами, она совершенно успокоилась, как будто исполнила свою обязанность, ей и не пришло в голову, что на следующий день молодые могли быть без куска хлеба. Действительно, так и было: хата Тумрова не была окончена, даже заготовленный для нее лес был частью изрублен им самим в ночь после погребения Лепюка, частью растаскан прохожими. В приданое за Мот-

руной пани велела дать корову, а братья решительно ничего не дали. Молодые не знали, куда деваться и чем жить.

Капитану не до них было, по отъезде помещиков им была выдана худшая корова из всего стада и приказано выбираться из избы, которую они занимали и которая почему-то понадобилась.

Таким образом, едва была справлена свадьба, как новобрачные остались без крова и без пристанища.

Цыган взял Мотруну за руку, и оба молча отправились к кладбищу. Чтобы не встречаться с людьми и не видеть их язвительных улыбок, Тумр повел жену не селом, а едва протоптанной обхожей тропинкой, и шел, потупив голову, думая о том, как ему устроить свою судьбу. Хате недоставало крыши, части стен, дверей, окон, печи и всей домашней утвари, не было у молодых ни гроша денег, ни муки, ни хлеба, даже ковша, чтобы зачерпнуть воды. Что делать? С чего начать? Куда девать единственное их богатство, корову? Чем прокормить ее? Мотруна тихо плакала и ломала руки, припоминая отцовское проклятие. Оба шли, не смея перемолвить слова, казалось, они желали бы продлить путь, чтобы отдалить минуту неизбежного разговора, но тропинка скоро привела их к воротам кладбища и к недостроенной хате.

Тумр молча привязал корову к столбу, а Мотруна оперлась о стену, устремив тоскливый взор к кладбищу, на котором еще желтела отцовская могила.

Слезы ее терзали несчастного Тумра, который чувствовал, что был первым виновником их, как ни тяжело было у него на душе, он перемог себя и приблизился к жене с улыбкой.

– Не плачь, – сказал он, – слезы не помогут, надо подумать, что мы станем делать. Хату я кончу до зимы, будет нам где жить, но только чем жить? Покамест надо продать корову.

Мотруна готова была всем жертвовать, но жаль ей было бедной твари, которая была ей дороже денег, была для нее предметом занятия, товарищем, утешением.

– Жаль коровки, – сказала она, – да что ж делать? Нужно, так нужно...

– Чем мы прокормим ее? И самим жить нечем, время осеннее!

– Я пойду к братьям...

– К братьям? – перебил цыган, наморщив брови. – Нет, никогда!.. Хотя бы пришлось нам умирать с голоду, мы не протянем к ним руки! Об этом и не говори... Но время дорого: ступай с коровой на базар, продай ее, купи что нужно для хозяйства... а я буду достраивать хату. Ну, смело, Мотруна, пусть люди лопнут с досады, а я покажу им, что чего-нибудь стою!

Цыган с жаром поцеловал жену в лоб, скинул кафтан и схватил топор. Глаза его оживились, работа загорелась у него в руках. Мотруна с участием поглядела на него, и легче стало у нее на сердце; подумав немного, она отвязала корову от столба, отерла глаза передником и, молча простившись с мужем, пошла на базар.

Тумр работал, как в горячке: откуда только взялась у него сила! Он не ел, не отдыхал, пот с него катил градом, а он все работал и даже не заметил, как настала темная ночь. Он взглянул на небо, собрал в кучку несколько щепок, развел огонь – и опять за работу. Ветер бросал ему в глаза клубы горячего дыма, огонь то потухал, то вспыхивал, а Тумр и не думал бросить работы. Он устраивал небольшую горенку, в которой мог бы приютить жену до окончания всей хаты. Утром не было еще для нее леса, а к ночи она была уже почти готова, даже маленькое оконце за неимением стекла было снабжено тонким деревянным волокном, недоставало только двери – да не из чего было и сделать!

Наступила полночь, в селении пропели первые петухи, луна, пробиваясь сквозь редкие тучи, разливала слабый свет по земле. Тумр сидел и все думал и передумывал о двери. Сон наконец сомкнул его веки, а дверь все-таки не давала ему покою: заснуло тело, но душа не прекращала своей тревожной деятельности, и – как часто случается в минуты сильного душевного напряжения – во сне явилась мысль, которой Тумр тщетно доискивался наяву. У самого кладбища, во рву, лежал полусгнивший, негодный мостик, сброшенный при перестройке ворот,

которые стояли уже поперек прежнего его места. Тумр мог без ущерба для кого-либо воспользоваться несколькими гнилыми досками. Сильно забилося его сердце, он проснулся. Надо было тотчас же привести в исполнение счастливую мысль: откладывать было нечего, днем кто-нибудь мог подстеречь и обвинить в краже. Как ни страшно ему было идти на кладбище, и еще против самой могилы Лепюка, необходимость превозмогла страх. Месяц словно следил за ним, выглянул из-за набежавшей тучки и указал Тумру предмет его поисков. Цыган отобрал несколько досок и пустился с кладбища, словно бы его кто гнал. Долго еще сердце сильно билось в его груди, но потом радость торжества вытеснила всякое другое чувство, он улегся около своей добычи и уснул.

Когда он проснулся, первой его мыслью было, что может он теперь сколотить дверь, и он принялся за работу. Но радость его скоро исчезла: на досках были вырезаны крест, год и еще какие-то знаки, по которым легко можно было открыть похищение. Руки у него опустились.

Он пытался было стесать знаки: но влажность проточила доски насквозь, и как он ни тесал, изображение креста все оставалось в глубине дерева. Суеверный страх овладел цыганом: он схватил доски, поспешно перебежал через дорогу и бросил их опять под мостик. Затем он закинул топор на плечи и отправился в лес. Мысли его были так напряжены, что он припоминал все доски, им прежде виденные, со всеми их щелями, сучьями, гвоздями, но ни одна из них не годилась.

Он шел не по проложенной тропинке, но целиной, все далее и далее, пока громкий смех, раздавшийся вблизи, не остановил его. Подозревая врага в каждом встречном, Тумр насупил брови, приготовился к обороне и осмотрелся вокруг себя. В нескольких шагах от него под сосною сидел карлик Янко. Это был давнишний и добрый его знакомый, который в селении назывался не иначе, как дураком-Янко, калека телом, не то полоумный, не то юродивый. Ему было немного за двадцать лет, но он казался гораздо старше, хотя на желто-бледном, болезненном лице его не было и следа бороды. Чрезвычайно малый рост, непомерно длинные руки и тощие короткие ножки, огромная голова, в которой шурились два маленьких, круглых, мутных глаза – все в Янке напоминало те уродливые существа, которыми воображение народа заселяет темные леса и непроходимые болота. С детства считался он ни к чему не способным, таскался где хотел, делал, что вздумалось: спал на печи или бродил по лесу. В селе знали его все собаки и все ребятишки: первые кусали, а вторые немилосердно дразнили его. Родные его не любили и попрекали каждым куском хлеба. А между тем Янко добровольно исполнял самые трудные работы: носил дрова и воду, ходил за грибами, бил коноплю и вообще охотно брался за то, от чего другие отказывались. Дурак-Янко был совсем не так глуп, как о нем думали, но он вечно скалил зубы, смеялся всему, что ему говорили, и прослыл за дурака. Страшное положение не вооружило карлика против людей, напротив, он был всегда весел и доволен, с каждым охотно вступал в разговор, хотя был несколько косноязычен, каждому и во всякое время готов был помочь как умел, словом – был полезнее многих умников. Но в деревне, как и в городе прокричат кого дураком, так навек дураком и останется. Янко остался дураком, а благодаря этому пользовался совершенной свободой.

Не раз уже он встречался в лесу с Тумром, и в душе бесприютного цыгана пробудилось невольное участие к такому же бедняге, гонимому людьми, часто они вступали в разговор, и дурак показывал, где какого искать лесу, иногда даже давал часть своей добычи грибов. Тумр скоро так освоился с ним, что уже не считал его за недруга.

– А, здорово, брат! – вскричал уродец, искривив рот в виде безобразной усмешки. – Чего ищешь в лесу?

Цыган потер лоб и не решался отвечать, хотя знал, что Янко мог помочь ему.

– Не собираешься ли сделать кленовый стол? Или тисовый порог к хате? – продолжал дурак и затянул какую-то свадебную песню о калиновом мостике, но вскоре прервал пение и ласково сказал, приблизившись к цыгану:

– Ну, скажи, дружище, что так задумался? Что с тобой?.. Ведь не годится на другой день после свадьбы шататься по лесу да поглядывать на деревья, словно повеситься хочешь! Скажи, что тебе нужно, авось я помогу...

– Ни ты, ни кто другой, а разве черт... – мрачно отвечал Тумр.

– Тьфу!! Охота тебе, сердечный, призывать этого молодчика, а еще в такой теми, я и в чистом поле боюсь его! Лучше скажи, чего тебе нужно, и постараемся без него помочь делу.

– Где тебе! – махнув рукой, отвечал цыган. – Клетушку я себе кое-как состряпал, да вот двери-то не из чего сделать, доски ни выпилить нечем, ни купить не на что и украсть даже негде!

– А ты украл бы?! – перебил Янко, смеясь и грозя. – Нет, голубчик мой цыган, не дивлюсь теперь, что ты кого-то призываешь! Да что, братец, чужое-то таскать, когда и без того можно все уладить!

– Как же?

– Да так же, что ничье – то возьмешь, не украдешь! – с важностью отвечал дурак.

– Оно конечно.

– Ну, так вот же. Есть здесь в лесу старая будка, – таинственно продолжал Янко, – такая старая, что того и гляди, свалится. Когда-то жил тут лесник, да повесился на притолоке, с тех пор будка брошена и никто от нее щепки не тронет, может быть, ты будешь посмелее. Я не тронул бы, а коли ты за дранкой черта призываешь, так и той не испугаешься.

– Где же она? – с нетерпением спросил цыган.

– А вот пойдем, я укажу, – отвечал Янко, схватив палку больше себя ростом, и пустился через пни и кочки.

Несмотря на нескладное строение своего тела, он был отличный ходок, и цыган едва поспевал за ним. Карлик хорошо знал лес и быстро шнырял под ветвями деревьев, время от времени останавливался и, улыбаясь, поджидал отставшего спутника и потом опять пускался скорым шагом, дорогой он то подбирал гриб, то вырывал куст ягод, то глазел на белок, прыгающих с дерева на дерево. Тумр шел за ним и молчал...

С добрый час шли они в лесу, наконец в чаще молодого кустарника Янко издали показал цыгану нечто похожее на развалины избы. Трудно было угадать, что за строение стояло тут когда-то: кровля провалилась, стены обрушились, плетеная труба рассыпалась, дикие травы завладели прежним жилищем человека... В одной стене, несколько защищенной от дождя, была давно сколоченная дверь, а от притолки еще висел конец гнилой веревки.

У цыгана заблестали глаза, он бросился к двери, схватил ее, но она рассыпалась в его руках.

– Вот-те раз! – вскричал Янко. – Жаль наших ног, даром проходились! Совсем сгнило!

Дверь, однако, была не совсем гнилая, можно было отобрать несколько досок, хотя и дырявых. Тумр поблагодарил своего проводника, взвалил доски себе на плечи и поворотил назад.

– Что ж, ты думаешь нести все сам? – сказал дурак. – А мне-то, своему другу, ничего не дашь?

– Где тебе! С места не двинешь! – с усмешкой отвечал цыган.

– Дай хоть половину, авось понесу.

Немало удивился цыган, увидев, как легко и бодро, без всякого усилия хилый на вид калека поднял свою ношу и понес ее, припевая какую-то песню.

Когда они вышли на опушку леса, Янко бросил свои доски, снял соломенную шляпу и сказал:

– Ну, теперь, дружище, неси сам, не то увидят наши меня с тобою, скажут, что мы вместе колдуем, и мне, пожалуй, дома хлеба не дадут. Вот видишь, что и дурак-Янко может на что-нибудь пригодиться. Ха, ха, ха!

Дурак упер руки в бока и хохотал, наконец нахохотавшись досыта, пустился со всех ног к селению.

XVIII

Мотруна со своей коровой шла медленно в город и плакала, горько плакала, так что за слезами и света не видела. Дорога шла через села и деревни, народу по ней шло много, и каждый посматривал на молодую пригожую женщину, которая гнала худую корову и плакала. Жидки, догадываясь, что скотина ведется на базар и что ее надо продать за столько, сколько дадут, не раз останавливали Мотруну и с каждым разом меньше предлагали за корову, впрочем, и то сказать, ее исхудалые бока и взъерошенная шерсть не обещали в ней выгодное приобретение покупщику.

Таким образом дошла Мотруна до города, ветер осушил ее слезы, людская тревога рассеяла ее мысли. Да и надо было подумать о будущем хозяйстве. Мотруна стала на базарной площади. Тут ее мигом обступили жидки, жидовки, жиденята, крестьяне, и живо пошел торг на скотинку, которой невзрачность, а следовательно, и дешевизна привлекала сих беднейших покупателей. И не успела Мотруна оглянуться, как ударили по рукам, отсчитали ей деньги, веревка ушла из ее руки в руку покупщика, и коровка угнана! На ладони молодой крестьянки было тридцать злотых. Не много было этого на покупку всего, что было нужно в хозяйстве. Мотруна закупила что могла, но тут новая беда: хоть немного накупила, а все-таки не взвалить ей на плечи и горшки, и ведро, и жбан, и сито, и лоток, и не унести все это на плечах в Стависки.

Только к ночи отыскала она попутчика, возвращавшегося домой порожняком, сложила свою кладь и отправилась. Ехали на волах, наемный работник был пьянехонек, дорога гористая, ночь темная, один Бог берег путницу. С громом катилась телега с каждого холма, и всякий раз, казалось, разлетится в щепки, однако благополучно скатывалась в долину, и волы лениво тащились далее, между тем как возничий, положив под голову новый лоток, спал как убитый.

Уже давно рассвело, когда телега остановилась у кладбища. Мотруна застала мужа тщательно сколачивающим дверь. Она не верила глазам, когда увидела приготовленную для нее горенку. В изумлении стояла она перед работающим мужем, даже страшно ей стало: уж не колдун ли цыган? Это было только волшебство воли и упорства.

Покупки были перенесены в хату, но беседовать и отдыхать было некогда. Тумру надо было кончить дверь, а Мотруне принести воды, за которой она должна была идти далеко кругом, чтобы не встретиться с кем-либо из поселян, замесить вместо хлеба лепешки, потому что для хлеба не было еще печи, сварить хоть немного картофеля, привезенного с базара, на обед.

Цыган между тем не выпускал из рук топора, он спешил с работой. Наконец он управился с дверью, хотя работы в ней было больше, чем в любой сборной штуке. Старые доски распались в щепки от первого удара топора, дыр и проточин было без числа, цыган где подрезал, где вставлял кусочек, где заклеивал, где связывал колышками, щепками, даже веревочками, все ему было годно, только бы держало. Зато сколько было радости, когда в первый раз заскрипела дверь на осиновых навесках и щелкнула щеколда. Сколько довольства и гордости заблестало в глазах цыгана, когда он посмотрел на дело своих рук, исполненное почти из ничего!

Его гордость вызвала улыбку и на печальном лице Мотруны. Они уселись в углу своей новой хаты, на мху, приготовленном для забивки щелей, и разломил первый кусок хлеба под собственным кровом. Слезы ручьем полились из глаз цыгана. Перед ним была целая будущность!

XIX

Есть сила в человеке великая, могучая сила, редко кто осознал ее, редко кто умел употребить ее. Она производит чудеса, покоряет все окружающее, не знает препятствий и вступает в победоносную борьбу с природой. Сила эта – воля.

Одно слово, не так много в нем смысла! В нем соединены все силы человека, все его бытие. Стоит только тронуть эту пружину – и она приведет в действие неведомые дотоле неземные силы, которых ничто не может поднять. Посмотрите, как изменяется, плошает, чахнет, падает и погибает человек, когда ослабевает и останавливается деятельность воли. Эта чудная сила не есть исключительная принадлежность гения, таланта, ума, зародыши ее лежат в каждом из нас, их нужно развить, воспитать, и тогда ничтожнейшее существо земли произведет чудеса. Вся практическая жизнь основана на воле. На этой оси вращается колесо судеб, управляемое невидимой рукой, но движимое только силой воли.

Не знаю, чему больше удивляться – египетским ли пирамидам, келье ли пустынного, выбитой в твердой скале дрожащей рукою, или избушке цыгана, сколоченной из ничего?

Попробуйте измерить силы и их следствия, и вы получите верный результат. Величие дела измеряется силой и средствами его творца. Едва заметная дырочка, просверленная в дубе бессильным червячком, для меня столько же удивительна, как тоннель под Темзой, созданный руками и мыслью тысяч людей. Ноша муравья, составленная почти из микроскопических частиц, возбуждает во мне больше удивления, чем Луксорский обелиск, перевезенный в Париж.

Взгляните на дела людские: там, в этом маленьком, ничтожном мире, оставленном без внимания, найдете те же пирамиды и обелиски, созданные одною волею, более достойные удивления, чем все создания искусства, которые каждый день возбуждают наше удивление.

Против кладбища явилась избушка – создание одной сильной воли, поражающее своей громадностью, хотя и неказистое на вид. Никто не помогал носить толстые срубы, никто, кроме цыгана, не тесал и не складывал их, никто не подкрепил даже добрым словом одинокого работника. За каждым бревном ходил он в лес, каждое особо тащил на своих плечах, притом работал у кузнеца за то, что тот точил его топор, потому что только временем мог заплатить ему, однако ж сколотил свою избушку. Через несколько недель после свадьбы и рассказанных событий изба была почти кончена.

Много помогала цыгану жена: ее присутствие одушевляло, ободряло его, ее рабочая рука притащила к кладбищу не одно полено. Вдвоем работа спорилась, а вечером, когда усталый работник падал на жесткую скамью, ему было кому промолвить словечко, обменяться тяжелой думой.

Мотруне, привыкшей к хозяйству, роскошному в сравнении с нагими стенами цыганской лачуги, трудно было свыкнуться с новым положением; чтоб обзавестись новым хозяйством, нужно было сделать все из ничего. Так пусто кажется в крестьянской избушке, а сколько здесь всякой почти невидимой рухляди, посуды, орудий, которые исподволь приобретает бедняк. В избушке Тумра не было ничего, кроме необходимейших вещей, купленных на базаре Мотруной.

Цыган довольствовался печеным картофелем и холодной водою, зачерпнутой ладонью. В их хозяйстве не было даже ведра, первойшей необходимости! Им предстояло обзавестись столом, скамьей, корытом, ведерком, кадкой. Притом, трудно одним хлебом питаться, а об огороде думать поздно.

Сначала думала Мотруна, что село и братья, смотревшие на нее так неприязненно, склонятся к прощению, но вскоре она убедилась, что для того нужно время. Чувство, заронившееся в душу крестьянина, не скоро изменяется и исчезает. Ему некогда передумывать того, на

что однажды он решился, разбирать того, что чувствовал, что думал: труд поглощает всю его жизнь. Чувство, возбужденное в его сердце сегодня, остается и завтра, мысль, с которой он засыпал вечером, просыпается с ним поутру.

Твердо остановились братья Лепюки на однажды принятом решении – и попробовал бы кто изменить его! Участие панов, общее настроение целого мира, основанное на завещании покойного Лепюка, уничтожили для них возможность перемены.

Селение нуждалось в кузнеце, но крестьяне решились никогда не обращаться к Тумру. Братья прервали все сношения с сестрой, и никто даже издали не поглядел с состраданием на изгнанников, избушка которых медленно росла и накрывалась.

Проездом каждый с любопытством глядел на эту избенку, но как скоро глаза проезжего встречались с глазами Мотруны, конь прибавлял шагу, лицо отворачивалось к кладбищу, и молодая хозяйка не слышала обычного приветов. Самые смелые крестьяне, не раз вступавшие в открытую борьбу с миром, подчинились его приговору.

Дни шли за днями печальной чередой, чужая нога не переступала порога новой избы, голос постороннего человека ни разу не нарушил ее безмолвия. Наступили длинные осенние ночи с бурями и вихрями, и молодые хозяева не раз дрожали от суеверного страха, внушенного им окружающей пустыней и близостью могилы старого Лепюка.

Изгнанникам некогда было предаваться скорби о настоящем, непрерывный труд, страшная, неведомая будущность не позволяли им входить в свое положение. В том-то все утешение несчастных, что они будущего не видят. Счастливы за сегодняшнее счастье платят беспокойством о завтрашнем дне. Бедняк, подавленный нищетой, опутанный своим горем, о нем только и плачет. Так было и с жителями новой избушки.

В постоянном труде, окончив избу и начав кузницу, Тумр не заметил, как в новом его жилище поселились холод и стужа. Мотруна своим женским чутьем могла бы проникнуть в грядущую будущность, но ее одолевало настоящее горе. А будущность была грозна, в ней не было никакой надежды на улучшение участи страдальцев. От опустелой усадьбы, управляемой капитаном Гарасимовичем, нельзя было ждать ни малейшего пособия, селение оставило новобрачных на произвол усадьбы, даже Максим Лях забыл о прежних своих отношениях к молодому цыгану. Тумр надеялся, что с постройкой кузницы дела его пойдут лучше, но без сторонней помощи кузница не могла явиться: откуда было взять железо, молот, наковальню?

Тумр, как цыган, умел обходиться чем попало, но меха, клещи, молот, наковальня все-таки были необходимы. Для горна нужен был кирпич, а кто поставит горн? Без кузницы какая им предстоит будущность? Откуда они возьмут кусок хлеба? Он питался надеждой, что поселяне, увидев на краю деревни то, чего так далеко искали, начнут понемногу обращаться к нему, хотя украдкой, с нужнейшей работой, а за смельчаками пойдут и трусы. Но до этого было еще далеко.

Деньги, вырученные Мотруной за продажу коровы, расходились на покупку продуктов, необходимых для жизни: муки, крупы и на пополнение разных хозяйственных принадлежностей. О покупке орудий для кузнечного дела нечего было и думать.

Цыган не отчаивался, не терял еще мужества, притом им некогда было предаваться печали и роптать на судьбу. Избенка по крайней мере кое-как была сколочена, оставалось законопатить щели в потолке, вставить окна из кусков стекла, собранных в кучах сору, поставить скамьи, стол, койку. То и дело бегал он в лес, а дома с утра и до вечера тесал да приколачивал. Едва хватало времени на обед и вечерний отдых, соединенный со сладостно-горькой беседой...

Мотруна не сидела без работы. Нужно было испечь хлеб, варить кушанье и, что труднее всего, наносить воды. Ближайший источник находился у дороги, ведущей к селению, возле става, по крайней мере в версте от избы, к нему нужно было спускаться тропой, пробитой по глинистому обрыву; чуть только дождь смачивал тропинку, она делалась скользкой, и Мотруне стоило необыкновенных усилий с полными ведрами подняться в это время на гору. А в день

нужно было раза два сходить за водою. К счастью, крестьянки редко ходили к этому колодцу, иначе Мотруне тяжело было бы встретить угрюмые, молчаливые лица когда-то знакомых соседей.

Спустя несколько недель после переселения в хату за околицей, Мотруне вздумалось попробовать счастья. Не говоря ни слова мужу, она отправилась к братьям. Она не видела их с тех пор, как покинула отцовский дом. Они избегали с ней встречи и колесили бог знает куда, лишь бы не проехать мимо сестриной избы.

«Неужто я для них чужая? – думала Мотруна. – Ведь мы росли вместе, одну грудь сосали, не оттолкнул они меня. Родной побранит, посердится, да и помилует. Расскажу им про нашу горькую долю, они помогут, они простят меня».

Утешаясь и ободряясь подобными мыслями, Мотруна, проводив в лес мужа, взяла ведра на плечи и пошла, будто за водой. В кустах у колодца она спрятала ведра и неверными шагами, с тоской и страхом поплелась к отцовской избе.

Сильно забило ее сердце, когда увидела она знакомую соломенную крышу, теперь чужую... Но когда-то под ней Мотруне было так уютно, так весело, покойно! Этот мох, эти желтые снопы и темные стены напомнили ей много прекрасных, светлых минут, когда она была весела, спокойна и кто знает? – может быть, счастлива. На заборе и березах чирикала знакомая стая воробьев, из трубы, как и прежде, спокойной струей поднимался синеватый дымок, немного покосившиеся ворота по-прежнему были наполовину открыты: все так знакомо, так близко сердцу, и между тем так чуждо, так холодно смотрит ей в глаза! С каждым шагом вперед все страшней и темней становилось на сердце Мотруны, слезы повисли на ее ресницах, вся ее молодость вышла навстречу из этой калитки с букетом красивых незабудок... Но кроме этих прекрасных видений никто не встретил возвращающейся изгнанницы. Долго не решалась она переступить порог родной избы, заглянуть туда, сказать слово прежде родным, а теперь чужим людям. А если не застанет она братьев дома, как примут ее невестки, всегда исподлобья смотревшие на нее, хотя и не щадила она в былое время своих сил, чтоб им угодить. Оперлась на забор бесталанная, горько заплакала и закрыла глаза толстым передником. Страх и надежда боролись в ее сердце, она долго стояла, не трогаясь с места, как вдруг кто-то дотронулся до ее плеча.

Она вздрогнула, открыла глаза: уж не брат ли, не сестра ль? Нет... старый черный кот, издали узнавший Мотруну, вскочил на забор и начал к ней ласкаться. У нее отлегло на сердце.

– А! Добрый Васька, – произнесла она, – ты один не забыл меня.

Впрочем, не один только кот узнал руку, недавно кормившую его, скоро со всех сторон к гостю начали сбегаться куры, пара старых голубей взвилась над ее головой.

Эта встреча до слез растрогала Мотруну, но не внушила ей смелости отворить дверь избы.

Изба была заперта, несмотря на то, что была суббота и в поле не было работы. Проникнутая страхом Мотруна готова была уже воротиться домой, как знакомый скрип двери остановил ее. На пороге остановился старший брат ее, видимо, недавно оставивший полати. Крик кур разбудил его, думая увидеть коршуна, он приложил руку ко лбу в виде зонтика, поглядел кругом, и глаза его встретились с глазами сестры.

Эта неожиданная встреча смутила его. Он схватился одной рукой за скобку двери, другую махнул в сторону, готов был уйти и хотел остаться. Он боролся с собою. Внезапное движение Мотруны решило борьбу.

– Брат Максим! – вскрикнула она, протянув к нему руки.

– Нет тут ни братьев, ни сестер твоих, – сурово и грозно произнес хозяин, – ты не здешняя, тут нету твоей родни. Проваливай, проваливай! Что, небось пришла высматривать, как бы твоему цыгану поверней вывести нашу скотину!..

– Максим! Ведь я сестра тебе... Что тебе сделал мой муж?.. Чем я провинилась перед тобой!.. За что ты так нас обижаешь!..

– А отца забыла? – грозно закричал Максим. – Не ты ли его убила! Пошла просить на нас во двор! Пушай и теперь паны тебе помогают... Мы тебе не братья!

– Максим, ты не знаешь нашего горя!.. Мы с голодухи помрем... Вы все село взбунтовали на нас... Не хочешь признать меня сестрой, я не навязываюсь, за что ж вы нас гоните?

– Нет, нет! – кричал Максим. – Так вам, поделом... Проваливайте отсюда за вашими, за цыганами. А село и без кузнеца стояло сколько лет и теперь, значит, не надо... Убирайся!

В сердце Мотруны пробудилось чувство, похожее на гнев.

– Мы цыгане! – вскрикнула Мотруна. – А вы-то кто! Вы небось лучше, что сестру родную со двора гоните умирать с голоду, лишь бы на глаза не попадалась!

– Вон пошла! А нет, так затравлю собаками! – крикнул Максим, делая шаг вперед.

– Собаки добрее тебя, – сказала Мотруна, – они по-прежнему признают меня хозяйкой... коли ты не признаешь сестры...

– Ты отказалась от отца, – перебил Максим.

Бросив на брата горделивый взгляд, Мотруна отступила на несколько шагов от забора. Кот, куры, голуби, проснувшийся от шуму дворовый пес, – все шумной толпой последовало за прежней хозяйкой.

Максим скрылся за дверью.

В мгновение Васька соскочил с забора и, ласкаясь к Мотруне, тихо плелся за ней, но видя, что она миновала ворота, остановился, присел, долго посматривал в ту сторону, где скрылась Мотруна, и наконец уснул безмятежным сном.

Куры все еще поглядывали на знакомый передник и провожали его за ворота, но лишь только она перешла границу их поисков и прогулок, ватага остановилась и начала рыться в кучах сору.

Голуби долго летели за нею, временами садясь на груши, колодцы и крыши, словно звали хозяйку назад, но и они воротились к своему гнезду.

Старая собака трогательнее всех просталась с женою цыгана, она провожала ее за ворота, ворча лизала ее руку и, виляя хвостом, старалась заглянуть ей в глаза. Но, видя безучастие к себе, она остановилась, залаяла и, опустив хвост и потупив голову, медленно побрела к своей конуре.

Дорога к кладбищу пролежала мимо гумна Лепюков. Поравнявшись с ним, Мотруна услышала стук цепа, дверь была полуоткрыта, ничто не мешало ей узнать, кто работает, она заглянула и увидела меньшого брата, который усердно работал возле нескольких снопов.

«Может быть, он милостивее Максима», – подумала Мотруна и тихо вошла в гумно, работник поднял голову и удивился, увидев перед собой сестру.

– Что тебе надо? – произнес он.

Этот вопрос был вызван скорее удивлением, чем гневом.

– К тебе пришла, Филипп. Ходила к Максиму, думала, добрым словом встретит, а он прогнал меня, словно бродягу...

– Максим прогнал, – повторил Филипп, опираясь на цеп. – Что ж я сделаю?

– Скажи хоть доброе слово, Филипп, – простонала несчастная. – Все нас покинули, никто и не посмотрит на нас, словно мы окаянные!..

– Эх, что ж тут делать, – произнес брат, явно смущенный. – Уж когда Максим прогнал, так мне что делать?.. Все село с ним заодно, хотят выжить вас. А мне-то с ним вздорить из-за вас не приходится, он всех поднимет, ни мне, ни бабе моей житья не будет. Уходи, Мотруна, а то как увидят нас тут, беда...

Мотруна плакала, опершись на ворота.

– Ох, горе мое, горе! Что же мне делать, горемычной, коли братья родные гонят со двора?

– Послушалась бы отца, – нерешительно сказал Филипп, – не было бы горя. Сама же виновата: связалась с цыганом, наделала и нам сраму.

– Что сделано, того не воротишь, – произнесла она после минуты молчания. – Не дай Господи детям вашим такой доли, мы с голоду помрем, как зима придет.

– А паны? – спросил брат.

– А где они?..

– Вам дали корову?

– Мы ее продали, нечем было кормиться самим.

Филипп задумался.

– Ступай себе с Богом, мне нечем пособить тебе. Пожалуй, набери, сколько можешь, ржи, да ни слова никому, слышь? Сохрани Боже! Максиму скажу, что копна в стороне стояла, так гуси и воробьи ощипали. Бери, бери, не стыдись, изьян не сделаешь, только беги скорее, неравно Максим увидит...

Слова Филиппа оживили Мотруну, не так дорога ей была эта жертва, как сознание, что есть еще одно сердце, в котором она может найти участие. Она бросилась целовать руки доброго брата.

– Да наградит тебя Господь за твое добро!

Филипп, казалось, также был тронут, но взоры, часто бросаемые на дверь, обличали в нем беспокойство и опасение, он сам принялся сгребать рожь и чуть не силой сыпал в передник сестры.

– Теперь ступай домой, – чуть слышно произнес Филипп, – ступай себе с Богом, пока Максим не встретил тебя здесь... Хоть краденым добром буду помогать, сохрани Господи, если подстережет... и меня съест, и тебе хуже будет. Ступай, ступай, Мотруна.

Все лицо Филиппа выражало смущение и беспокойство, он то сгребал в кучу солому, то поглядывал в ворота, то выпроваживал сестру.

– Максим, – прибавил он наконец, – голова в доме, он знает, что делает, и покойник также знал, что делал. Не след тебе было приставать к цыгану, жили бы вместе и горя б не видала, теперь все пропало...

– Заладили вы одно и то же, – жалобно сказала Мотруна.

Филипп покачал головой.

– Да как же нам переменить, что отец приказывал? Он умер, некому тебя прощать, против его воли кто пойдет?

– Никогда, никогда! – закричала Мотруна, ухватясь руками за голову.

– Да, верно, что никогда, – произнес Филипп, слегка толкая ее. – Уйди же, уйди, – продолжал он, – беда будет, да и мне пора сгребать рожь, вишь, солнце садится.

Молча несчастная женщина бросила последний взгляд на брата, который будто устыдился своей доброты и опустил глаза в землю. Сердце Мотруны сжалось, из гумна она вышла богаче несколькими гарнцами ржи, но безнадежнее, чем прежде.

Вот она с тяжелой грустью, медленными шагами пробирается мимо заборов к плотине, проходит пруд и приближается к кустам, скрывающим ее ведро.

У источника не было живого существа, она торопливо разогнула ветви и в отчаянии всплеснула руками: в кустах не было ведер.

XX

Тумр долго проходил по лесу, ища материала на кузницу. В опустошенном бору трудно было найти дерево, годное на брусья, потому он воротился домой поздно вечером. Остановившись перед входом в избу, он увидел плачущую Мотруну.

Глаза цыгана налились кровью, щеки запылали, в голове его мелькнула мысль, что кто-нибудь обидел жену; бросив свою ношу, встревоженный цыган подошел к ней.

Мотруна вздрогнула, услышав неожиданный шум, хотела бежать навстречу раздраженному мужу, но остановилась.

– Что с тобой, Мотруна? Тебя обидели эти проклятые гады? – спрашивал цыган, сжимая свои могучие кулаки. – Клянусь, – прибавил он, – я не вытерплю более, уж коли пропадать, так пропадать, а я им устрою праздник, полетят они все к чертям!.. Пусть погибнут в огне, пропадай они, как собаки!

Говоря это, цыган был так страшен, глаза его так дико сверкали, что Мотруна, крестясь, отступила от него.

– Ах, Тумр, перестань, что попусту сердиться? Ничего не случилось, ничего, мой милый.

– О чем ты плачешь?

– Сама я сделала глупость, – сказала Мотруна, думая скрыть от мужа свои похождения, – ведра пропали.

– Ведра? Как так?

– Поленилась идти к колодцу, а пошла к пруду, там вода быстро бежит, я упустила ведра, а вода и унесла к мельнице.

Цыган пристально посмотрел ей в глаза и отрицательно покачал головой.

– Ведь там коноплю мочат, – с расстановкой произнес кузнец, – небось, ты не пошла бы туда, а если бы и так, то ведра не поплыли бы далеко, там весь берег зарос. Нет, тут что-то не так, не обманывай меня, Мотруна.

Трудно было Мотруне лгать перед мужем, стыдливый румянец окрасил ее щеки, она произнесла что-то невнятно и пожала плечами.

– Говори, Мотруна, правду, ведь я все узнаю.

– Да я уж говорю тебе, как было, – отвечала смущенная жена, переступая порог избышки.

Цыган последовал за нею и увидел узелок с рожью, брошенный Мотруной посреди избы.

– А это что?

– Мерка ржи, я купила у мужика из Рудни за пятнадцать копеек.

– За пятнадцать копеек? – недоверчиво произнес цыган. – Нет, неправда, быть не может, говори правду, Мотруна, грешно тебе лгать передо мною! Ты плакала... Тут что-нибудь не так, я узнаю, я все узнаю.

Мотруна молча перебирала концы передника.

– Ты напугал меня, ты такой сердитый, – медленно отвечала жена. – Зачем тебе сердиться, мало, что люди против нас?

– А если бы я дал слово, что без твоей воли ничего не стану делать?

Мотруна отвортила лицо, смоченное слезами.

– Я расскажу тебе, как было. Легче будет на сердце, только скажи, ты мстить не будешь, не правда ли?

– Видит Бог, не буду, пока еще хватает терпения, уж очень много я перенес обид и часто прощал. Говори же скорее!

Мотруна начала рассказ, по временам прерывая его слезами и умалчивая о том, что говорил ей Максим, прогнав со двора.

Молча, понурив голову, почти не переводя духа, слушал цыган печальную повесть.

– Собаки! – закричал он, когда Мотруна, кончив рассказ, залилась слезами. – Не нужна мне их помощь, прочь их милостыню! Издохну как собака, а не трону я зерна этой проклятой руки!

– Филипп не виноват, – боязливо произнесла Мотруна.

– Филипп – баба! – крикнул цыган. – Боится меня, боится брата, сует тебе милостыню, чтобы отвязаться! Завтра же брошу ему в рожу!..

– Ради Бога, – бросаюсь к нему, прервала жена, – и его, и меня, и себя погубишь! Максим как узнает, просто загрызет его бедного: за его же добро накличем беду. Этого я не позволю!

– А ты ела бы этот хлеб? – спокойно возразил цыган. – Тебе, сестре, как собаке, бросили кусок... Подавись ты этим хлебом!..

– Выбрось его, только не отдавай брату, – кричала Мотруна, – не губи его, не губи меня! Ответ Тумра был прерван стуком в неплотно запертую дверь.

Шум этот так странно прозвучал в ушах одиноких изгнанников, что оба они в испуге переглянулись и остановились среди избы. Цыган, предчувствовавший беду – он всего начинал бояться, – бросился к двери, готовый грудью встретить врага.

В воображении Мотруны мелькнули тени покойников, мстительный образ отца, и она невольно перекрестилась.

– Кто там? – громовым голосом закричал цыган, отпирая дверь и стараясь проникнуть в непроглядную тьму.

– А, а, добрый вечер! Добрый вечер! Цыц! Не бойтесь! Ведь голышу разбойники не страшны, у вас, чай, нечем поживиться.

Слова эти принадлежали зайке Янке-дурачку, странная фигура которого обрисовалась перед изумленным хозяином лачужки, он тащил на плечах ведра с водой и насилу переступил порог.

– Мои ведра! – крикнула Мотруна, в восторге хлопая руками. – Да, да, мои! – прибавила она, наклонивши голову к ведрам и рассматривая их. – Это Янко-дурачок!

– Да не так еще глуп, – отвечал тот, – коли нашел то, что умница потеряла! А! А!

– Бог наградит тебя, Янко, – сказал цыган, – я второй раз у тебя остаюсь в долгу.

– Что ж ты мне должен? – пробормотал карлик, почесав затылок.

– Да где же ты нашел их? – спросила Мотруна. – Какой ты добрый: еще воды принес.

– Коли нести ведра, так уж и с водой. Зачем тебе эта посуда в такую пору без воды? А где нашел их – все равно, где ни нашел, а нашел.

– Скажи же, где нашел? Отнял у кого-нибудь, а?

– Ни у кого не отнимал.

– Как же они к тебе попали?

– А! Ты думаешь, что мой язык так легко вертится, как твой, подожди маленько, подожди!

Тумр и Мотруна стали пред карликом, занявшим место у порога.

– Вот как было, – начал медленно он. – Иду я себе, да иду, куда глаза глядят, выгнали, вишь, меня из избы, захотелось им ужинать – затем и прогнали, заперли дверь за мной, что делать? Я и пошел... Прошел я плотину, мостик, да пришел к колодецу. Стал я и думаю: сесть бы здесь да воды напиться, коли есть не дают... Посмотрел в колодец: вода глубоко, напиться нечем... Думаю, думаю, как бы воды напиться... а должно быть, можно, говорят, все можно сделать, коли захочешь... Вот я сел да начал думать, как бы достать воды. Потом отошел я в сторону от колодца и бух в кусты! Да как грохнусь боками о что-то твердое, так и в глазах потемнело. А чтоб тебя черти побрали! Оглянулся, вижу два ведра и коромысло, все этакое новенькое. Вот, думаю, и можно напиться. Кто затащил их сюда? Гляжу во все стороны – нигде никого. Пришла Настя, Ляшкова дочь. «Добрый вечер, – говорю, – Настя!» А она и не глядит на меня. «Не достать ли тебе воды?» – говорю. – «Убирайся к черту», – говорит. Только и было... «Настя, – говорю, – не знаешь, чьи эти ведра?» – «Ведра? Ведра?» Подошла, да говорит: «Мои ведра, мои, я их искала...» – «Твои! – говорю. – Как же твой?» «Ну, мои не мои, а я их возьму». – «Как так?» – «Да так, ты мне отдай». – А я ей и говорю: «А если б твои кто взял?» Покраснела, молчит. – «Скажи, – говорю, – лучше, чьи они? Ты ведь знаешь». Посмотрела, покачала головой. – «Новые, – говорит, – не знаю... не знаю... не наши, у наших таких ведер нет... Они куплены, но не здешней работы...» – А мне и довольно, я думал, да и догадался,

что они ваши. Потом пришла еще Григорьева жена, как начали калякать, так вот и стемнело. Я набрал воды, да и принес.

– Спасибо тебе, Янко! Эх жаль, нечем тебя попотчевать...

– Не надо меня потчевать, – перебил юридивый, – меня хоть бьют и гоняют из избы, а все-таки накормят... Э, да у вас тут так пусто, – прибавил карлик, пристально посмотрев кругом.

– А где нам взять? – сказал цыган. – Все, что видишь, все я сам сделал, на своих плечах таскал. Теперь что дальше, то хуже, сердце надрывается, как подумаешь... А что делать, чем пособить?

– Что и говорить! – тихо заговорил Янко. – Я тоже знаю. И тут как ни бейся – ничего не сделаешь.

– Надо сделать, – сурово заметил хозяин.

– Надо, ха, ха! Надо! Кто тебе поможет? Из чего ты выстроишь кузницу?

– Возле кирпичного завода много кусков валяется, снесу их сюда понемногу и начну строить.

– Ну, ну, а дальше что? Кто горн сделает?

– Печник из Рудни.

– Даром?

– Нет, неделю поработаю у кузнеца, кузнец заплатит печнику.

– Ну, а дальше? Думаешь, я кузницу не видел! Ого, го, го! Бывал я на ярмарке и в Рудне, и в Пятковичах, и в Чумарах, видал я всякие кузницы, и жидовские, и цыганские, и христианские.

– Целый год буду работать днем и ночью у кузнеца, заработаю хоть на старые меха, наковальню, клещи да кусок железа.

– А жена?

– Пойдет на заработки, – быстро подхватила Мотруна.

– А там оба по миру пойдете? Ну, так это еще хуже!

– Эх, дай только кузницу поставить, куплю угля, примусь за дело, и один, другой проезжий похвалит в корчме мою работу, а приедет транспорт в гололедицу, придет пора с сохой ехать в поле...

Янко качал головой.

– Та, та, та! Так вы не знаете наших ставишан, – сказал он. – У них, как у евреев, когда херим, так херим¹⁹. Может быть, в старину так и было бы, а теперь нет, не те времена, теперь вы и с голоду помрете...

Мотруна вздохнула, Тумр потупился.

– На ставишан не надейтесь, – сказал Янко, – они уже сходились, и руки давали, и стговаривались, и водкой запивали, я их знаю. Зашел бы кто в твою кузницу, да на другой же день невесть куда прогнали бы. Вот узнай только кто-нибудь, что я был тут и говорил с вами – домой не пустили бы, ей-ей! И хату заперли б, а там делай, что хочешь...

– Тебе так кажется, Янко.

– Пусть кажется. Коли мое не в лад, так я со своим назад. Не слушайте Янку-дурака! На то он дурак, чтоб его не слушали. Я все-таки скажу вам, что коли что-нибудь взбредет в мою голову, как начну говорить, так не сегодня, то завтра, а на моем станет. Вот как старого-то Лепюка привезли сюда на кладбище, а потом как позвали молодцов на двор, тотчас я и сказал себе: будет кузница, да хлеба не будет.

Мотруна вздохнула, Янко продолжал, заикаясь:

– Со мной ведь то же случилось... Разве я хуже Васьки али Андрюшки? А как сказали все в один голос, что я дурак, все пропало, как есть... Словно меня и нет на свете – никуда

¹⁹ *Херим* – религиозная клятва евреев. Она произносится только в важных случаях и соблюдается чрезвычайно строго.

не годен! Мне нет дела ни в хозяйстве, ни в поле, ни дома! А жениться! Куда – и не думай!.. А как выйдет потяжелее работа, так кто? Все я же работай! А чтобы хоть тулупчик кое-какой дали... э, да что и говорить! И слова доброго не дождешься. Уж так на всю жизнь и пошло!

– Так пойдем отсюда, не в другом, так в третьем, в десятом селении найдем работу и кусок хлеба. Не брошу я им своей мазанки даром, больно дорога мне она.

– Делай, как хошь, – сказал поднявшись Янко, – мне пора домой. Дадут мне доброго пинка за то, что опоздал, а коли запрут дверь, так и не впустят в хату: в хлеву или в мякиннике ночевать придется. Да мне все одно: шкура попривыкла. – Говоря это, Янко перешагнул за порог мазанки и скрылся в темноте.

Тумр и Мотруна снова остались одни, оба одинаково печальные и унылые.

В печи заблестал огонек, в избушке стало будто веселее и на круглом столе появилась миска.

– Пропади они, – свирепо произнес Тумр, садясь возле жены, – не покорюсь, хоть бы пришлось прождать всю жизнь. Бог видит мою правду. Не плачь, Мотруна, за твои слезы твои братья ответят.

XXI

Среди мелочных забот и тяжелого труда проходили медовые месяцы молодых супругов. За минуту отдыха, за сладкую мечту они платили изнурением сил, огорчениями и гневом, который грыз их собственную грудь: все обходили цыганскую лачужку, избегая встречи с ее владельцем и его женой.

Были ли они счастливы друг с другом?

Мечтать о счастье не то, что наслаждаться счастьем. Счастье, созданное своевольной мечтою, непостоянно, как сама мечта. В вечерних встречах, в первое время знакомства, они и не воображали, какими обильными потоками слез оросят они свое брачное ложе. Мотруна любила Тумра, но воображение невольно рисовало перед нею картину лучшей, привольной молодости. Мысль об изгнании из родного круга часто выжимала из глаз ее горячие слезы. Не одну ночь провела она без сна, стараясь забыть о прошлом, забыть о настоящем, но в ушах ее раздавалось отцовское проклятие – и холодная дрожь пробегала по всем ее членам. Иногда думала она о будущем, о завтрашнем дне, о зиме, о долгих годах, которые, быть может, суждено ей провести в этой пустыне в постоянных мучениях и быть свидетельницей чужих мучений, тогда она хваталась за голову и крепко сжимала ее, как бы стараясь заглушить в ней тяжелую думу.

А возвратиться назад было поздно. Ей угрожало изгнание из родной деревни, страшная участь детей, бродячая жизнь, скаредная бедность с сумой на плечах...

Цыган ни о чем не думал, пока его руки с утра до ночи были заняты работой, он одушевлял себя надеждой, и силы его, казалось, росли вместе с работой.

Но когда пришла осень с проливными дождями и остановила начатую работу, когда утратилась последняя возможность выстроить кузницу, пришлось сидеть дома по целым дням без дела – тоска пала и на его сердце. Затосковал цыган о своей привольной бродячей жизни, вспомнил веселую, игривую, пламенную Азу, вспомнил всех, кого бросил для Мотруны, ему так живо представились молчаливая жена Апраша, крикливые ребятишки, старухи-ворожеи, кузница, телега, перевозившая ее с места на место, и весь цыганский быт, правда, скаредный, но полный деятельности и жизни.

Теперь он был осужден на сидячую жизнь, он должен был любоваться печальным видом сельского кладбища, вести однообразную беседу с женою, бояться невидимых врагов, томиться в пустыне.

Уже перетолковал он обо всем со своей страдалицей-женой, они разом выпили до дна свою чашу, и новые дни не несли ничего нового для их однообразной, унылой жизни. Тумр хотел бороться и страдать, как прежде, лишь бы только выйти из оцепенения. А между тем, с каждым днем мысль упорнее и упорнее обращалась к прошедшему, недавно ненавистному, а теперь прекрасному, обольстительному.

Сначала бродил он по лесу без цели и это развлекало его, но скоро однообразный лес надоел ему. Цыган все сильнее и сильнее чувствовал потребность движения, ему нужны были новые места, новые лица, иное небо. То была потребность, всосанная с молоком матери, подавленная на время сильной страстью. Какое-то беспокойство мучило его: он выходил за порог избы, пристально глядел во все стороны, тащился без цели по дороге, возвращался домой, и снова что-то манило его на простор.

Если случалось ему провести целый день дома, то он впадал в такое оцепенение, что едва можно было заметить в нем признаки жизни. Мотруна видела это и молчала: она старалась утешить его, думая, что его мучит мысль о завтрашнем дне, но и ей самой день ото дня становилось тяжелее.

Скоро их мысли разошлись по разным направлениям: одна направила их к селению, которое так заманчиво дымилось в долине, другая устремила их в широкий, неведомый свет, который манит к себе обольстительной надеждой и новизной. Оба они тосковали, они еще любили друг друга, но втайне плакали о своем прошедшем.

Мотруна сидела на обрыве горы и, сжавши руками голову, сквозь слезы смотрела на спокойное село, мысль, окрыленная тоской, летала по отцовскому дому, по родной кровле и отдыхала в маленьком садике, она вся предавалась мечте, пока вид новой могилы не вызывал ее к действительности.

Бывало, мельком взглянет на желтую могилу, осененную еще белым крестом, и в ужасе крестится и бежит в угол избы, чтобы только не видеть страшного креста, с которого, кажется, несется грозный голос отца.

Когда тоска сжимала сердце Тумра, он с обнаженной грудью, растрепанными волосами выбегал из избы и шел, сам не зная куда: то бросался он в лес и рыскал по чаще, то, словно дикий конь, вырвавшийся на волю, без цели перерезывал поля и горы и, выбившись из сил, падал на берегу пруда, реки или засеянной поляны. Не раз среди тишины леса звучала цыганская песня, не раз дикий смех сливался с завываниями ветра. Одна и та же болезнь, только с различными симптомами, у обоих развивалась в гигантских размерах. Сначала это была только временная тоска: иное впечатление могло ее рассеять, но потом она превратилась в змею, которая днем и ночью грызла их сердца.

Часто по целым дням они молчали: цыган, как зверь, посаженный в клетку, бросался из угла в угол, Мотруна смотрела в окно, из которого видно было село, отцовская изба, старая собака, Васька, куры, пара голубей, тихий двор, да старушка груша.

После печальной осени на серых облаках быстро примчалась зима в белом саване, зима страшная, холодная, пронимающая до костей. В мазанке стало холодно, засветились щели, сквозь них пробился ветер и диким голосом запел печальную песнь опустошения. Тумр лепил, конопатил, работал снова, но дождь и ветер упорно навещали избенку, и первые морозы проняли до костей ее обитателей. Напрасно разводили они огонь, напрасно цыган таскал ветви и перегнившие деревья: горький дым выедал глаза, а теплота улетала сквозь щели.

Иногда избу совершенно заносило снегом, но вдруг наставала оттепель, снег таял, и в мазанку бежали потоки воды. Идя за водой, Мотруна не раз падала на тропинке, покрытой замерзшим снегом.

Еще осталось у них несколько грошей и муки, но пришел день, тяжелый день, когда они съели последний запас. Мотруна в ужасе всплеснула руками, заглянув в квашню, пустую, как

пропасть. Тумр давно заметил, что пущена в ход последняя копейка... А кузницы все еще не было, не было работы, не было надежды на чужую помощь.

Однажды вечером, дрожа от стужи, они молча сидели у затопленной печи. Цыган тяжело вздохнул и первый прервал продолжительное молчание.

– А что, Мотруна! Хлеба-то нету, сам не придет, думал я долго об этом. Нечего делать, нужно идти в другое село на заработки. Да ведь беда, как ты останешься здесь одна?

Мотруна, опустив глаза, перебирала концы передника.

– Останусь, останусь, буду стеречь свою избушку да поджидать тебя...

– По воскресеньям стану ходить к тебе, даст Бог, принесу хлеба, аль грошик...

– А я наймусь пряхать, авось кто-нибудь возьмет...

– Нет, и не думай! Я не хочу, чтобы ты просила, обойдемся и без них...

– Ну, хорошо, хорошо, – живо проговорила она, – я буду сидеть дома.

– А тебе не страшно остаться одной против кладбища? Иной раз ночью, как ветер завоет, и меня дрожь пронимает.

Мотруна вздрогнула.

– Проживу как-нибудь, Бог не без милости, умру – тебе же легче будет: братья схоронят, кладбище недалеко, а ты опять будешь по свету ходить, куда задумаешь...

– Молчи, Мотруна! – крикнул цыган, вскочив с места как ужаленный. – Пробьемся эту зиму, – прибавил он спокойнее, – а там, коли не удастся выстроить кузницы, подожду избу, да и пойдем за нашими.

– Да зима-то длинна!

– Длинна! И жизнь не коротка, а как-нибудь прожить ее надо... Вот опять беда: кто тебе дров наносит?.. Ты останешься одна-одинехонька, не с кем будет слова промолвить...

Мотруна молчала, огонь потух, разговор прекратился как-то сам собою, снова в избушке воцарилась мертвая тишина, и мысли собеседников разошлись каждая по своей дороге.

На другой день утром, несмотря на проливной дождь и вьюгу, Тумр, явно занятый какой-то новой мыслью, выбежал из своей избы и направил шаги к селению, казалось, он искал кого-то. В деревне было совершенно пусто: изредка мужик, покрытый мешком, или женщина, с закинутой на голову юбкой, пробегали через дорогу, только густой дым расстилался по крышам изб и серой мглой укутывал деревню.

Тумр до полудня шнырял по всем закоулкам и, промокнув до костей, воротился домой с вязанкой дров за плечами. Жена развела огонь, цыган высушил платье, отдохнул и снова пошел на поиски. Ветер разогнал тучи, немного прояснилось и местами проглянуло синее небо, предсказывая мороз. Тумр почти до вечера бродил вокруг селения. Уж смеркалось, когда он встретился с Янко.

Дурачок тащил на плечах мешок, набитый только что смолотой мукою, расчетливые хозяева пожалели волов и послали брата. Жалко было смотреть, как согнувшийся в три погибели босой уродец брел по замерзавшей грязи. Но когда он, услышав приветствие Тумра, поднял голову, желтое его лицо вовсе не выражало той усталости, какой бы следовало ожидать, по губам его пробежала улыбка, глаза ярко блистали.

– Куда ты тащишься, Янко? – спросил цыган. – Ищу тебя с самого утра.

– Знать, плохо ищешь, – отвечал Янко, спустив мешок наземь, – искал бы там, где бьют, где холод, голод, где грязь да стужа, где беда всякая ходит... так нашел бы.

Цыган разразился диким хохотом.

– Неужто ты сидел в моей лачуге? Там ходит всякая беда...

– Ха, ха! И голод?

– И не сегодня... Слава Богу, давно уже не видим и хлеба.

– Ха, ха, ха!

Дурачок захохотал и принялся согревать движением свои закоченелые руки.

– Ну, что ж будет? Помоги, Янко, не то можем издохнуть!..

Маленький человечек покатился со смеху, услышав восклицание твердого, как гранит, цыгана.

– Ай, ай! Отпусти хоть душу на покаяние, – закричал Янко, – ей-ей, умру от смеха, вот как! Ай да, Янко-дурачок! Да на что я годен? Разве мешки по грязи таскать да дрова рубить!

– Помоги, Янко, не то пропадем, – твердил цыган.

– Ой, ой! Муха у комара помощи просит! Ей-ей, умру от смеха! – кричал юродивый, качаясь от смеха.

– Хлеба нет, – сказал цыган, – муки ни горсти, денег ни гроша...

– Я так и знал!

– Пойду, авось заработаю хоть кусок хлеба, Мотруну оставлю одну.

– Куда ж пойдешь?

– В Рудню, к кузнецу...

– Что ж ты у него зарабатываешь?

– Хоть хлеба на неделю – и то хорошо, да Мотруну-то как оставить?

– Ну, и ее возьми.

– Двоих не пустят в избу.

– Что ж будет? – спросил Янко, улыбаясь на этот раз доброй улыбкой. – Я-то чем пособлю тебе?

– Снеси Мотруне дровец, да под вечер поглядывай за нашей избенкой, зайди к Мотруне, чтоб ей было с кем хоть словом перекинуть.

Янко задумался, покачал головою и длинными руками начал колотить себя в грудь, думая возбудить движение застывшей крови.

Казалось, он не принимал никакого участия в положении Тумра. Из-под обмерзших ресниц уroda выкатилась слеза, кто знает, сострадание ль выжало ее или трескучий мороз? И последнее, кажется, вернее: дурачок одет был в лохмотья, изорванная свитка едва прикрывала его тело, соломенная шляпа, найденная в куче сору, торчала на голове, на необутых ногах замерзла грязь.

– Ха, ха! А если ей чересчур весело будет со мною? Если она, ну, понимаешь, полюбит меня? Такого красавца, как я, полюбить нетрудно. Что ж? Ты не боишься меня?

– Эх, брат! Видно, правду люди сказали: чужое горе – людям смех. Можешь пособить – пособи, не можешь – не смейся, – сурово добавил цыган.

– Чем же я пособлю? Попробую, да с моей подмогой далеко не уйдешь. Мне самому нелегко уйти из избы. И мне не больно весело жить с братьями, видишь, как одевают, бьют, голодом морят. А проведуют, что я к вам хаживаю, – беда!..

– Так тебе у них нехорошо? – сказал цыган после минутного молчания.

– Ха, ха, ха! Мой милый, неужто ты думаешь, что у тебя лучше будет?.. Уж как ни вертись, от своей судьбы не уйдешь: она на плечах, крепко вцепилась, не скинешь... А своя изба, брат, лучше княжеских палат, я в ней родился, там была у меня и мать, – прибавил Янко, опустив голову и понизив голос.

Последние слова невольно сорвались у него с языка, за ними последовал тяжелый вздох, на глазах блистали слезы, и Янко стал говорить умно и важно.

– Послушай, – сказал он совершенно другим тоном, – избы своей для тебя не брошу, где родился, там и умру, а перестань я работать на братьев – выгонят, выгонят и на порог не пустят. А твоему горю и без того я пособлю.

– Как же?

– Буду служить и им, и вам. Правда, колотить будут больше, что за беда! Я привык уж, слава Богу. Каждую ночь буду заходить в твою избенку, а чтоб не заметили, буду спать в мякиннике... холодновато, правда, ну, да не замерзну, даст Бог.

– Не вытерпишь, Янко.

– Уж я про то знаю, – с уверенностью произнес Янко. – Это мое дело. Удастся, принесу Мотруне дров, да хлеба ломоть... Ступай в Рудню, не горюй.

Дурачок опять засмеялся глупым, язвительным смехом.

– Награди тебя Бог! – произнес цыган.

– От вас не дожدهшься награды. Я богат, мне платить не надо! Понадобился же тебе дурачок, да еще буду твоим благодетелем! Батюшки! Дурачок-благодетель! Славно! Ай да дурачок!

Говоря это, он ловко забросил мешок на плечи, прошел несколько шагов и закричал цыгану:

– Не печалься, брат, все сделаю, что надо, в обиду вас никому не дам. О, Янко большой пан! Ха-ха-ха! Юродивый благодетель!

И он загорланил песню и потащился вдоль улицы по колена в грязь.

Цыган воротился домой и стал собираться в дорогу.

– Я говорил о тебе с Янко, – произнес цыган, когда сборы были кончены. – Он тебе помогать станет. Во всем селе одна честная душа!..

Цыган и его жена проплакали целую ночь, прощание было печально, но и тут явились утешения, облегчающие горькие минуты душевных страданий.

Мотруна утешала себя тем, что найдет возможность побывать в селе, а Тумр горел нетерпением увидеть новые места и новые лица. Но когда наступила последняя минута расставания, когда они подали друг другу руки и впалые глаза их встретились, решимость их исчезла. Цыган остановился на пороге как вкопанный, Мотруна не могла оторваться от мужа.

Наконец Тумр, собрав всю силу воли, поцеловал жену в лоб и, подняв свою дорожную палку, выбежал на дорогу, словно кто гнался за ним.

В самом деле его гнала нужда...

Долго он бежал, не переводя духа, не озираясь назад, наконец он остановился, и глаза его невольно обратились к избушке, но глаза встретили желтую могилу старого тестя с белым крестом, на котором сидел ворон, крик которого разносился по всему кладбищу. Цыган вздрогнул и бросился вперед.

XXII

Мотруна, оставшись одна, залилась слезами. Одиночество напомнило ей, что теперь, более, чем когда-либо, она должна работать руками, головой и сердцем, чтобы не умереть с голода, тоски и страдания.

В избушке так пусто и мрачно. Кроме щебетания двух-трех воробьев, поселившихся под крышей мазанки, несчастная женщина не слышала ничьего голоса: ни собаки, ни кошки, ни коровы, никакой домашней твари, которые так оживляют жизнь деревенского труженика.

Первый день разлуки с мужем Мотруна провела в слезах, сидя в углу избы на куче соломы, обвернутая полушубком, она не чувствовала ни голода, ни стужи. Уже совсем стемнело, когда под окном послышались шаги, затем скрипнула дверь, кто-то зашевелился в сенях, раздался стук брошенных дров, и через полуоткрытую дверь просунулась голова Янко.

– Здорово, хозяйюшка! – весело воскликнул дурачок. – Вот и я! Твой слуга и сторож. И огня-то у тебя нет?

– А! Это ты! Награди тебя Бог, что не забыл меня, мне страшно становилось одной.

– Вот я затоплю, – сказал Янко, – будет веселее. Принес я тебе немного картофеля, хлеба, крупы... У тебя, чай, ничего не осталось?

Говоря это, он положил на скамью узел, собрал в кучу щепу и хворост и стал раздувать огонь.

– Э! Да у тебя, Мотруна, плохое хозяйство! Что с тобой случилось? Бывало, на все село хвалили тебя за твое хозяйство.

– Ох, Янко, – шепнула Мотруна, – было чем хозяйничать, так было хозяйство, а теперь!..

– Хитрое ль дело хозяйничать, когда все есть! – смеясь, произнес Янко. – Умей хозяйничать, когда нет ничего: вот так штука!

– Знаешь, голубчик, какая наша доля!.. Я уж и руки опустила.

– Это плохо, очень плохо. Мотруна, ты оплошаешь – и муж не поможет!

– Ни он, ни я, пришел нам, знать, конец... пропадем...

– Э! Когда б то человек мог пропасть, когда ему вздумается, беда-то наша в том, что битая посуда три века живет.

Дурачок болтал без умолку, мыл горшки, наливал воду, ставил к огню, осматривал избу, изредка поглядывая на Мотруну, посиневшую от стужи.

– А я и новости принес, – сказал Янко после минутного молчания, – ты, видно, ничего не знаешь, коли и не спросишь меня.

– Зачем мне они? – равнодушно отвечала Мотруна.

– А может быть, и пригодятся на что! Новость славная! Наш пан приехал из-за моря!

– Пан приехал?! А пани? – живо спросила хозяйка, встав со своего места.

– погоди, слушай, все расскажу по порядку. Я, видишь, на барщину не хожу, управляющий, слава Богу, не принимает меня: к чему, говорит, годен урод? А дурак того не знает, что я за двоих могу работать. Вчера вместо невестки меня выслали на барщину в усадьбу. Вот там я все и узнал, можно было вдоволь послушаться.

В Мотруне проснулось любопытство, и она присела на скамью, стоявшую у печки. Янко готовил ужин.

– Вчера на барщине никто ничего не делал, – продолжал он, – все говорили о том, что пан приехал.

– Зачем ты мужу не сказал об этом?

– Думал, что знает.

– Мы здесь, словно в лесу, ничего мы не знаем, разве кто помрет на селе, так и то на третий день узнаем. Ну и что ж там говорили?

– А вот сейчас... Сказывали, что пани наша где-то далеко померла, и пан воротился один.

– Померла? – всплеснув руками, вскрикнула Мотруна. – Боже мой!

– Ну, тут еще нет большого несчастья, а вот что хорошо, так хорошо: говорят, пан Гарасимовича прогнал. Пан наш как уехал желтый, бледный, такой и воротился... Чуть только переступил через порог, говорят, велел позвать Гарасимовича и сказал что-то такое, что его благородие сломя голову побежал во флигель да и начал собираться в дорогу... Скоро уедет... говорят, поссорились, наш пан бросил ему в рожу какие-то бумаги, а сегодня гуртом все пойдут с жалобой на Гарасимовича. Не сдобровать ему!

– А у меня только и было надежды, что пани, – со вздохом сказала Мотруна.

– Правда, она тебя замуж отдала и корову дала, – сказал Янко, – да жалеть ее нечего, ведь она на вас накликала беду: ну, да и пан добрый... ленив только, подчас и слова не скажет. Попытай счастья, сходи к нему...

– Напрасно, – тихо отвечала Мотруна, – напрасно!

Дурак посмотрел на нее, слегка пожал плечами и начал ломать сухой хворост.

– Мне нужно идти отсюда, – сказал он, – я издали буду поглядывать за вашей избой. Вот тебе хворост и лучина, жги, пока не заснешь. Да послушайся моего совета: не отчаивайся, не горюй. Будешь суетиться, работать – легче будет. Доброй ночи, Мотруна! Я переночую здесь недалеко.

Мотруна молча загляделась на огонь, осветивший на лице ее две серебристые слезинки. Этими слезами она поминала женщину, фантазия которой связала ее навеки с участью цыгана.

«Померла, и она померла, а я-то, глупая, думала: вот, даст Бог, приедет, поможет, пожалеет меня... И эту надежду Бог отнял у меня, горемычной», – думала Мотруна, и слезы обильным потоком струились по ее бледным щекам.

До глубокой ночи сидела перед печью Мотруна, тяжелые думы теснились в ее голове, но всего яснее сознавала она беспомощное одиночество. Уже и огонь погас, и горшки остыли, а сон все не являлся, только когда пропели третьи петухи, сон сомкнул усталые веки хозяйки хаты за околицей.

Наутро дурак явился в избушке с первым лучом солнца, он успел уже показаться братьям, получить несколько толчков и воротиться к Мотруне. Немало удивился он, увидев, что холодные горшки не тронуты, огонь погас, и Мотруна всю ночь оставалась на том же месте, где он оставил ее вечером.

Скрип двери разбудил ее.

– А! Мотруна! – проговорил Янко. – Должно быть, из тебя не выйдет проку. Эх, матушка! Заснула подле печки: хороша хозяйка! Не ужинала и обеда не думаешь стряпать. Плохо, совсем плохо! Мне всего за тебя не переделать! Нужно и самой за что-нибудь взяться.

– За что же взяться? – спросила женщина. – Посуда рассохлась, хлеба ни крошки.

– Отчего же посуда рассохлась? Сама виновата.

– Я виновата!

– Бывало, – говорил Янко, – Мотруна работала и за себя, и за цыгана: носила воду, работала в избе, справлялась так, что любо! Я все видел! А теперь и с места не встанет. Стыдно, стыдно!

– Что же ты бранишься?

– Нельзя не бранить, ей-ей, нельзя, – отвечал карлик, хлопотливо бегая по углам избы, – мне стыдно за тебя. Нечего сказать, славная хозяйка! Хата не выметена, горшки не мыты, в печи потухшие угли и золы пропасть!.. Ты не помощь, а горе цыгану. Ну, пошевеливайся, голу-бушка! За работу!

Последние слова он произнес так удачно, что Мотруна соскочила со скамьи и бросилась к огню, а дурачок захохотал во все горло и пропал за дверями.

– А и вправду так, – подумала Мотруна. – Что я, в самом деле, сию, сложа руки?..

Между тем в сених послышалось кудахтанье и запищал щенок.

– Что это? – произнесла Мотруна, вздрогнув и остановившись среди избы. Сердце ее радостно забило, когда она прислушалась к этим знакомым, давно забытым звукам. На душе у ней стало легче: так живо представилась ей родная изба.

– Куры! Да, куры! И щенок! – вскричала Мотруна и бросилась отворять дверь, держа в руке зажженную лучину.

Сени снаружи были заперты, две курицы бегали из угла в угол, а петух, увидев огонь, вскочил на порог, захлопал крыльями, и в избушке раздался его звонкий голос. Мотруна растерялась от радости.

– Ах, боже мой! – закричала она. – Хохлатки, хохлатки, да какие хорошенькие!

Тут же у порога визжал и ползал щенок, пытаясь перелезть через высокий порог.

– И собака! Это будет мой Каштан, – крикнула она, хватая на руки рыжего щенка. – Добрый Янко! Это он принес. Украл, бедняга, где-нибудь... Бог ему простит...

Между тем куры вскочили в избу и, бегая по углам, начали рассматривать свое новое жилище.

– Какие красотки, какие жирные, какие веселые! Выкормлю Каштана, будет сторожем нашей избы, а куры!.. А чем я их буду кормить?

И Мотруна остановилась, уныло поглядывая на бедных животных, которым предстоит делить участь новой хозяйки. Ни в пустой избе, ни в куче сора десятки кур не нашли бы зерна, здесь всякая пылинка была дорога.

Стараясь отыскать что-нибудь для новых жильцов, она начала осматривать углы избенки и тут только увидела узелок, принесенный Янко. Мотруна с радостью схватила его, там была крупа, которая, разумеется, тотчас же полетела на пол. Думая о том, чем накормить щенка, она нашла хлеб, возбуждавший в ней аппетит, подавленный тяжелыми думами.

Таким образом, благодаря доброму Янке, не являвшемуся целый день в цыганской избе, у Мотруны было занятие, товарищи, голос, который ее будил и ободрял.

XXIII

Гордый своей обязанностью опекуна, Янко-дурачок работал за четверых, стараясь скрыть от братьев свои ежедневные экскурсии и угодить на всех. Он не пренебрегал никакими средствами помощи, украсть для бедной Мотруны у богатого соседа не считал делом преступным и потому всегда являлся к ней с ломтем хлеба, миской толокна или мешочком крупы и других съедобных вещей. Все это было украдено, не исключая щенка, но так искусно, что подозрение не могло пасть на настоящего вора. Янко самого брата выслали отыскивать покражу, он исполнял приказание, шарил по всему селу и, с пустыми руками воротившись домой, увлекал невесток рассказом о том, сколько кур у соседа, где спрятана крупа и сколько ее. Пропажу щенка дурачок приписал лихости какого-то дикого зверя, этим объяснением остались совершенно довольны, потому что потеря щенка беда небольшая.

При всем своем старании дурачок едва мог управиться с суточной работой в двух избах, отброшенных одна от другой на такое дальнее расстояние, о себе он вовсе не думал и вполне удовлетворял нуждам своих хозяев. Несмотря на то, что дома ему поручали самые тяжкие работы, он все-таки находил время навестить избу цыгана, сходить за водой, наносить дров, украсть где-нибудь хлеба.

В воскресенье утром цыган в первый раз навестил жену. Он торопился отдать полкаравая сбереженного хлеба и несколько заработанных грошей своей, быть может, умирающей с голоду Мотруне. Каково же было его удивление, когда он увидел, что хозяйство его в одну неделю так стало богато! Слезы навернулись на его глазах, когда Мотруна рассказала о подвигах Янко, но цыган сильно встревожился, когда в голове его родился вопрос – откуда нищий мог добыть все это?

«Украл, – подумал цыган, – украл. Ну а что, если на селе спохватятся? Ему ничего, а на нашу голову новая беда!»

Однако ж он не открыл жене своих опасений, боясь лишиться ее последней радости.

– А слышал ли новость? – спустя минуту сказала Мотруна. – Пан приехал, говорят, выгоняет отсюда капитана, пани умерла.

– Нужно идти на барский двор, – произнес цыган, мало обративший внимания на последнее известие и совершенно занятый своею судьбою. – Авось он как-нибудь поможет.

– И дурак говорил, что надо идти, – прибавила Мотруна, – да ты не знаешь пана! К нему трудно приступить, раз десять сходишь – слова не добьешься, он больной, все словно спит.

– Попробую, – сказал Тумр и в полдень, помывшись и принарядившись как можно лучше, отправился к пану.

Сопровождаемый целой стаей собак, цыган решительным шагом прошел двор и остановился в почтительном отдалении от барского крыльца в ожидании милостивого позволения войти в покои. Проходившие слуги не обращали на него внимания, наконец один спросил, что надо, и махнул рукою, другой сказал, что барину недосуг, но цыган не покидал своего места. Тумр не обладал искусством людей, бывающих на барских дворах, умеющих вовремя подойти к окну, кашлянуть за дверью и так наскучить своим терпением, что их или прогонят, или выслушают. К счастью, пан Адам случайно взглянул в окно и увидел мрачное лицо цыгана,

который стоял, опершись о дерево и потупив в землю глаза, не смея двинуться с места и терпеливо ожидая решения судьбы.

Пан Адам и теперь скучал точно так же, как прежде. Он отправился за границу с намерением излечиться от скуки и усталости, но и за границей он так же скучал, как в своем имении. Жена, окруженная толпой любовников, кокетничала по-прежнему и таскала мужа с места на место, чтобы скрыть от него свои похождения. Судьба сжалилась над бедным невольником и расторгла брак, который был связан несчастным случаем и ослеплением.

Мадам Леру, возвращаясь с бала, простудилась и умерла в чахотке. Это событие нарушило на время монотонную жизнь Адама, он предался страшному отчаянию и думал, что вскоре последует за существом, к которому время и привычка привязали его, с горя он перебирал вещи, оставленные женою, и мало-помалу дошел до ее шкатулки.

Здесь тихая печаль превратилась в страшную злобу: столько нашел он любовных записок, столько чистейших доказательств подлого обмана, столько насмешек над собой! Он старался ничему не верить, но действительность была открыта, и он силился задушить в себе воспоминания о женщине, которая так спокойно глумилась над ним.

Возвратясь на родину, он при первой встрече с Гарасимовичем бросил в глаза любовные письма его к француженке и приказал убираться вон. Капитан, убежденный в нравственном бессилии своего принципала, попробовал было отстоять выгодное право на управление чужою жизнью и имением, но пан Адам не хотел о нем и слышать.

Еще, быть может, и остался бы он на своем месте, но жалобы крестьян так раздражили Адама, что управляющий был немедленно изгнан и с тех пор не смел являться в Стависках.

И снова в доме Адама однообразной чередой потянулись печальные дни. Опять завладел им страшный душевный недуг, порожденный ранней потерей нравственных сил и пресыщением в жизни: ничто не занимало его, на все он смотрел с неизменным равнодушием. Целые дни проводил в полусонном состоянии сибарита, размышляющего о том, чем бы потешить себя. Иногда в голову его приходили дикие желания, приличные Нерону или Калигуле: он жалел, что не может сжечь Рима и воспеть его пепелище или обоготворить скотину и людей превратить в животных. Случалось, что слуги не могли угодить капризам и причудам своего пана, а иногда он становился добрым простаком, и всякий лакей водил его за нос, были и такие минуты, что пан бесновался без всякой видимой причины – и тогда всем доставалось.

Когда порывы очнувшихся страстей охладевали, наступала апатия, бесчувствие.

Таков был пан Адам в лучшую пору жизни. В тот день, когда цыган стоял у крыльца, ослабленный сибарит чувствовал припадок доброты. Более часу он ходил по комнате, закинув за спину руки, и, подходя к окну, всякий раз видел цыгана. Упорство бедняка, не трогавшегося с места, несмотря на проливной дождь и стужу, заняло его.

– Слякоть, холод! А этот человек стоит так спокойно и так долго! Должно быть, ему очень нужно говорить со мной.

Еще полчаса походил он по комнате, посматривая в окно, следя за движениями цыгана, это занятие интересовало праздного пана, и потому он не спешил удовлетворить своему любопытству. Наконец начало смеркаться, а цыган все-таки не двинулся с места, пан не вытерпел и приказал позвать его.

Закурив трубку, развалившись в креслах, пан заговорил:

– Кто ты? Зачем тут стоишь?

– Я кузнец, – отвечал Тумр, – цыган, – прибавил он после короткой паузы, понизив голос.

– А-а! Помню, помню, какая-то история у тебя вышла... свадьба... моя жена... что-то... что с тобой сделали?

Цыган, никогда не воображавший, что кто-нибудь может забыть его горе, вытаращил глаза на зевающего барича.

– Так расскажи мне все от начала до конца, – прибавил Адам, – я ничего не помню.

Кто был в положении Тумра, тот поймет, как тяжело было ему исполнить приказание, но он собрался с духом и рассказал свою историю, а пан выслушал ее, не сделав ни малейшего движения.

Несмотря на то что рассказчик в общих только чертах представил бедственную свою участь, однако ж, он успел расшевелить внимание пана.

«Странная идея родилась тогда в голове моей жены, – подумал он, – состряпала свадьбу и вооружила против молодых все село. Не случись этого, цыган пошел бы своею дорогой, а девку выдали бы за кого-нибудь другого. Теперь что я сделаю?..»

– Чего ж ты хочешь? – спросил он, подумав немного. – Я не могу приказать, чтобы любили тебя, с миром трудно сладить! Не лучше ли было бы, если б ты переселился в другую деревню?

– Куда? – спросил цыган. – Я поставил здесь избенку, уж довольно поту пролил я на этой земле. Жена родилась тут, привыкла, да ей и не время тащиться за мной... Хочу выстроить кузницу, да не на что, будет где работать, будут ходить наперед чужие, а там и свои...

Пан улыбнулся и покачал головой.

– Попробуй, если хочешь, – сказал он холодно, – я тебе, пожалуй, помогу, но я знаю, ничего не будет.

Говоря это, он вынул из кармана деньги, отсчитал десятка два-три рублей и бросил на стол с такой гордой холодностью, что его доброе дело почти оскорбило цыгана. Но делать было нечего, он принял милостыню и, потешив щедрого пана рассказом подробностей своего горемычного житья, вышел со двора довольный, счастливый.

«Нужно посмотреть на эту хату за околицей, о ней, кажется, уже мне люди говорили, – думал пан, – да, любопытно, очень любопытно... Счастливы эти люди! Как им хочется жить, как мало им надо!»

Настроив мысли на прежний лад, пан снова начал зевать, а между тем Тумр бежал к избенке порадовать жену. Сумма в самом деле была достаточна для того, чтоб выстроить кузницу и купить необходимые орудия, но приниматься за работу было поздно.

Мотруна, завидев мужа, вышла к нему навстречу. Увидев деньги, она обрадовалась и изумилась.

– Что мы теперь станем делать? – спросила Мотруна.

– Кузницу выстрою, надо ждать до весны, теперь немного сделаешь, а денег трогать не будем... На хлеб пойду опять работать. Помаемся зиму, а там все пойдет хорошо.

– А может быть, этих денег и на хлеб, и на кузницу хватит? – нерешительно заметила Мотруна.

Цыган в ответ покачал головой.

– Нет, голубушка, о том нечего и думать, – сказал он после минуты раздумья. – Деньги, как вода, уходят... Эти истратим, других не найдем... Закопаем вот здесь, в уголок, пусть ждут до весны.

– Пусть ждут, весна недалеко.

– Теперь легче будет ждать, посмотрим, что скажут в селе, как тут, на горе застучит мой молот?..

Медленно протащилась зима со своими вьюгами, морозами, оттепелями, а в хате за околицей ничто не изменилось. Янко привык служить жене цыгана и привязался к этому скрадному жилищу нищеты, потому что здесь только говорили с ним как с человеком, любили его как брата. Предусмотрительный Янко сплел корзинку для люльки и во избежание дурных предзнаменований повесил ее под крышей.

Тумр постоянно ходил в Рудню, его услугами там пользовались с тем большей охотой, что он мастер своего дела и усердно работал за самую ничтожную плату. Жители Рудни не раз смеялись над ставичанами, имевшими у себя дома отличного кузнеца и ходившими за несколько

верст точить топоры. Случалось, что ставичане приходили и в Рудню к кузнецу, Тумр работал для них так же, как и для других, но ни разу не обменялся с ними ни полсловом.

Только что начала показываться зелень, Тумр нанял работника и принялся за постройку кузницы, он рассчитывал, что рабочее время принудит упрямых ставичан обратиться к нему. На деньги, зарытые в углу избы, едва-едва можно было приобрести кузнечный инструмент, необходимый для выполнения неприхотливых сельских заказов.

Печник, ставивший горн из купленного кирпича, и сапожник, тачавший мехи, совершенно истощили карман цыгана: но зато кузница была почти готова.

К несчастью, прежде чем все было готово, время посева ушло, а у Тумра еще не было ни клещей, ни молота, ни угля. Бедняга стал рассчитывать на починку серпов, кос и плугов. Иногда казалось ему, что все готово, но каждый день доказывал ему, что много еще недостает, и цыган с новой ревностью принимался за работу.

Весна была уже на исходе, когда Тумр, вечером возвратившись в избу, воскликнул:

– Ну, слава Богу, кузница кончена! Надевай фартук и работай!

Вслед за ним вбежал в избу запыхавшийся Янко.

– Ха, ха, ха! Новость! Новость!

– Что с тобой, Янко? Какая новость? – улыбаясь, спросила Мотруна.

– Возвращаюсь из леса, – залепетал Янко, – вижу – шайка цыган... вон тут на лугу, недалеко, будут ночевать.

Тумр вздрогнул всем телом и пробормотал что-то невнятно, Мотруна, инстинктивно испугавшись, заломила руки.

– Зачем же они пришли сюда? – произнесла она. – Зачем?

Сердце несчастной сильно забилося, почуяв невзгоду. Тумр явно был встревожен, но хотел казаться равнодушным.

– Да нам какое дело до того, что цыгане пришли? – произнес он медленно. – Пришли и уйдут.

– Все-таки, Мотруна, посматривай за мужем, до беды недалеко, пожалуй, уведут, – прибавил дурачок.

– Ох, горе, когда мужа придется сторожить!

– Береженого и Бог бережет, – сказал гость. – Но мне домой пора, доброй ночи!

Янко проворно выскользнул из двери.

Тумр и Мотруна сидели одни, не говоря ни слова, мысль их летела к цыганскому шатру. Тумр не мог ни минуты остаться на месте, бледное лицо его пугало жену, которая изредка устремляла на него глаза, исполненные тревожного любопытства. Никогда еще он не казался ей таким страшным: глаза его дико блистали, губы дрожали, на лбу выступили крупные капли пота, грудь тяжело и высоко подымалась, словно хотела разорваться.

Сели ужинать, цыган и ложки не обмакнул, а когда посуда была убрана, он снова начал ходить, молчаливый, мрачный, почти помешанный. Он бежал от порога в противоположный угол избы, но непреодолимая сила опять влекла его туда, казалось, он готов был отворить дверь, но рука судорожно опускалась, и он бросался назад. Глядя на него, можно было подумать, что гладиатор борется с диким зверем – так он боролся с собою.

– Послушай, Мотруна, – сказал он, наконец остановившись посреди избы, – цыгане могут испортить все дело. Я спешил окончить кузницу, надеясь, что в рабочее время народ волей-неволей придет ко мне с работой, а вот как эти бродяги расположатся здесь – всех заманят к себе, а нам пропадать придется.

– Отчего ты так думаешь?

– Те ничего не сделали, а я...

– И что же ты сделаешь? – спросила Мотруна, устремив на него глаза.

– Что? Я не знаю, – нерешительно отвечал Тумр, – пойду к ним, буду просить, чтоб ушли отсюда.

– Ты! Ты к ним! – крикнула Мотруна, вскочив со своего места. – Зачем? Они потащат тебя с собой, они забьют тебя, отравят, околдуют! Нет, нет! Я не пущу тебя... Ты не пойдешь?

Последние слова Мотруна произнесла с таким отчаянием, что Тумр, пораженный болезненным выражением ее лица, принужден был замолчать, но смертная бледность покрыла его щеки, он опустил голову, будто приговоренный к казни.

– Ну, так пропадем, коли ты мне не веришь, – произнес цыган, внешне совершенно спокойный.

– Я... я верю тебе, да как мне им поверить? Цыгане – народ мстительный, ты ушел от них – они тебе мстить будут...

Тумр язвительно усмехнулся.

– Много ты знаешь цыган! – сказал он медленно. – За что они будут мне мстить? Сколько цыган сидит на месте и пашет, а разве мстил им кто-нибудь?

– Ведь они колдуны, – перебила Мотруна.

– Против колдовства есть колдовство, – хмурясь, отвечал Тумр, – и моих глаз не выносил никто.

И он посмотрел на Мотруну этим непобедимым взглядом, она задрожала и опустила свои глаза, она почувствовала, будто горячее острие пронизывало ее сердце, будто тяжелая цепь сжимала слабую грудь и останавливала дыхание.

– Скажи лучше, что мне не веришь, – закончил Тумр. – А цыган тебе опасаться нечего. Между твоими страшнее жить, чем между ромами, однако ж я жив и здоров.

– Да зачем же ходить к ним? – умоляющим голосом произнесла Мотруна.

– Чтобы уговорить их идти дальше.

Мотруна не отвечала. Цыган посмотрел на нее, заметил слезы на глазах и снова начал ходить по избе, так бешено, что можно было опасаться за слабые стены мазанки, в которых он бился, как зверь, посаженный в клетку.

Тумр лгал. Не опасение остаться без куска хлеба призывало его к цыганскому костру, но сердце, не разум, но та таинственная сила воспоминания, которую ослабляет старость, ослабляет счастье. Тумру нельзя было забыть бродячего житья, огненных глаз Азы, цыганского котла, песен, голоду, преследования и мести.

Так таинственно сложилась жизнь людская, что как бы ни была она жалка, а все же найдутся в ней зародыши счастья и наслаждения. На дне всякого страдания человек находит оружие победы; когда страдание доходит до крайнего предела, из него рождается противодействующая сила.

Тумр много выстрадал, в прошлом, как и в настоящем нашел он мало счастья, но прежние язвы уже зажили, на месте их явились новые – и в прошлом он видел возможное для себя счастье. Сердце, пробужденное чародейским словом, рвалось к оставленным братьям, мысль витала в обольстительной сфере воспоминаний о счастливой юности.

«Что, если это они? – думал он. – Что, если это Аза, Апраш, старуха Яга, Пегебой, Пуза и тот самый изорванный шатер, под которым столько капель моего пота упало на землю, и скрипящая телега, и слепая лошадь?.. Живы ли еще дети и жена Апраша? Хоть бы взглянуть на них! Разбили где-нибудь у опушки леса шатер, расположились на ночь... не смеют войти в село... Апраш сидит у огня, жена молчит и качает дитя, Яга болтает, мальчуганы пляшут, лошадь пасется на поле! Эх, черт возьми, как им там хорошо, хлеба нет, зато есть свобода! Хоть бы раз взглянуть!»

Взор Мотруны, казалось, проникал сквозь череп цыгана и наблюдал его мысли, с каждой минутой она становилась печальнее, а Тумр глядел, словно помешанный.

Бог знает, в котором часу легли спать хозяева лачужки, цыган никак не мог сомкнуть глаз и наконец закрыл голову, чтоб показать жене, что спит. В его душе кипело желание хоть издали взглянуть на бродяг, и борьба в человеке, не привыкшем побеждать себя, довела его почти до бешенства. Усталость смыкала глаза, но цыгане не давали покоя, он засыпал и просыпался, стонал и наконец впадал в состояние, не похожее ни на сон, ни на бодрствование.

Из борьбы страстей часто возникает физическая сила, и, напротив, болезнь, изнуряющая тело, нередко побуждает душу к необычайной деятельности.

Не успел Тумр уснуть, как какая-то непонятная сила подняла его и направила к двери.

Последняя вспышка потухавшего огня осветила цыгана, и Мотруна увидела дикое выражение его лица. Она испугалась и, не смея крикнуть, ни даже шевельнуться, затаив дыхание, заломила руки и опустила голову.

Тумр казался великаном, так вытянулся он под гнетом невидимой силы: волосы взъежились, неподвижные, безжизненные глаза уперлись в дверь, брови мрачно сдвинулись, во всем его образе выражалось столько могущества и непоколебимой воли, что Мотруна не смела и подумать восстать против нее.

Тяжелой поступью дошел он до двери и, оставив ее отпертой, скрылся в темноте.

Дрожа всем телом, Мотруна вскочила с постели и бросилась к двери, при свете месяца она увидела как Тумр, не останавливаясь ни на секунду, побрел к кладбищу и, будто привидение, исчез за могильными крестами.

Она хотела догнать мужа, но силы оставили ее, она схватилась за грудь и упала на пороге. Цыган уже был далеко и не мог слышать пронзительного крика жены.

Тумр не шел, а бежал, сам не зная, куда принесут его ноги. Миновав кладбище, перепрыгнув через несколько рвов и заборов, взобравшись на гору, он увидел в долине огонь и прибавил шагу.

В это время из-за туч показался месяц и удвоил красоту картины, развернувшейся пред ослепленными глазами Тумра. Ночь была тепла и спокойна, ветерок лепетал на вершинах деревьев, темно-серое небо подернулось белыми волнистыми облаками. На дне широкого рва, с трех сторон окружавшего лес, сквозь полупрозрачную ночную тень виднелся цыганский обоз.

Вокруг пламени в дыму, как привидения, бродили черные фигуры. Ближайшая часть леса, освещенная пламенем костра, чудно рисовалась на темном фоне бора. Каждая ветвь при малейшем дуновении ветерка, казалось, выскакивала из густого мрака и принимала тысячу образов, трепеща сверкающими листьями.

Но Тумр ничего не видел, он все более и более ускорял шаги и наконец остановился под цыганским шатром, у самого огня.

Теперь, казалось, он очнулся, вскрикнул пронзительно и пал на землю, будто дерево, поваленное бурей.

XXIV

Шайка, предводимая Апрашем, по выходе из Стависок успела побывать в разных странах, испытала много превратностей судьбы: неизвестно, случай ли или воля Азы снова привели ее сюда. Аза так искусно управляла всеми, что хотя предводителем шайки считали Апраша, но голос ее брал верх над распоряжениями атамана.

Кто знает, что делалось в сердце дикого дитяти? Довольно того, что цыгане воротились в Стависки. Хотела ли Аза увидеть Адама, думала ли она о судьбе Тумра – не знаем.

После того, как Тумр оставил свою братию, Аза во многом изменилась: по-прежнему она была живая, но на лице уж не заметно было беззаботного веселья. Пребывание в панском доме познакомило ее с роскошью и лучшей жизнью и научило тосковать по ней.

Она возненавидела свои лохмотья и толстую рубаху, ей нужна была тонкая рубашка, кумач, который так пристал к ее черным глазам.

Она умела прекрасно одеться в лохмотья: просто-напросто опахивалась одеялом, убирала голову цветами и чистотой заменяла пышность, но ей жаль было шелку, оставленного в доме Адама.

Часто, гораздо чаще, чем желал Апраш, вспоминала она Тумра, казалось, чем больше увеличивалось разделяющее их пространство, тем чаще и тем беспокойнее произносила она его имя. Не раз Аза начинала ссору со своим атаманом, который, по ее мнению, был причиной бегства Тумра.

Однако ж Аза клялась и предсказывала, как цыганка, что кто изведет прелести бродячей жизни, тот недолго останется на одном месте и рано или поздно воротится под тень прохладного шатра.

«Только бы нас увидел, только бы почуял запах нашего котла, сорвется с цепи, прибежит к нам».

Во время медленных переходов из села в село, из местечка в местечко цыгане лечили, ворожили, заговаривали, и великая ворожея Аза всех очаровывала прелестью своею и влекла за собой толпы поклонников: она любила водить за собой своих пленников, а их было немало. Кто мог устоять против этих страстных взглядов, этой улыбки, обещавших столько блаженства! Но, когда невольник, окованный цепями, лежал у ног цыганки, она отворачивалась от него с насмешкой и презрением. Ее каменное сердце не билось для других, не отвечало ничьим мольбам и вздохам.

С каждым днем она становилась прекраснее, с каждым днем она совершенствовалась в своем ремесле. От старух научилась она пляске, вынесенной из Испании, и, кружась при звуках балалайки, она, казалось, разыгрывала целую драму страсти.

Старики и юноши со всех сторон сбегались смотреть на чудную пляску, простое любопытство приводило их к цыганке, но никто не оставался на этом чувстве, ее движения могли зажечь страсть в охладелом сердце старца. С каждым днем Аза становилась известней в местечках и больше зарабатывала пляской, чем Апраш молотом и наковальней. Старухи-цыганки видели в ней опору в будущем, предсказывали красавице славную жизнь и ухаживали за ней, как за королевой. Апраш, смотревший на нее мрачными и вместе с тем раскаленными глазами, наряжал и лелеял ее, особенно после смерти жены. Вечно безмолвная, несчастная женщина, казалось, ждала, скоро ли последнее дитя оставит ее тощую грудь: лишь только нога его ступила на землю, нежная мать пошатнулась и, не испустив даже стоны, умерла, по-видимому, спокойно. Смерть настигла ее в печальном сосновом лесу, цыган зарыл холодное тело и забросал могилу сухими ветвями. Никто не пожалел о ней, никто не уронил слезинки на ее могиле, детей более удивила, нежели опечалила потеря матери, взрослых не удивило и не опечалило это событие: безмолвная жена атамана была им чужда и происхождением, и характером.

Опустив товарку в могилу, бабы нашептывали заклинания, муж, обернув тело широким покровом, проворчал что-то сквозь зубы, ничто, похожее на слезу, не омрачило его черных глаз. Младшее дитя, увидев, что мать опускают в могилу, протянуло к трупу ручонки, пошатнулось и упало на бездыханную грудь. Апраш вытащил его из ямы, высек, и скоро земля закрыла бранные останки несчастной женщины.

Теперь, казалось, Азе предстояла честь сделаться супругой атамана. Через несколько месяцев после смерти жены, действительно, Апраш объявил ей свое желание, но в ответ услышал колкие насмешки.

– Что с тобой? – вскричала Аза. – Рехнулся, кажется, на старости лет! Да ты мне в дедушки годишься. Ты стар – я молода, у меня нет вовсе охоты быть матерью цыган, а пуще всего твоей рабой.

– Видишь, – отвечал мрачно Апраш, – что в нашей шайке нет для меня жены, кроме тебя.

– Возьми какую-нибудь старуху: она за детьми присмотрит и тебе угодит.

– Аза, ты знаешь, что я не терплю насмешек.

– Я насмехаюсь, – отвечала она, – потому, что ты заслужил того! Вырви горсть волос, посчитай седые, их будет больше, чем я прожила на свете.

Несколько раз Апраш повторял свое предложение, но упрямая цыганка, ободряемая всеми старухами, осыпала его градом насмешек и упорно защищала свою свободу.

Апраш сердился, горячился, грозился, но победить не мог. Заметив, что Аза ведет табор туда, куда тянет ее воспоминание о бариче и Тумре, он воспротивился, но пересилить ее прихоти не мог.

По мере того как табор приближался к селению, Аза становилась задумчивее, важнее, одевалась тщательнее, старалась казаться красивее и на угрозы Апраша отвечала смехом.

Наконец цыгане приблизились к Ставискам, Аза хотела разбить шатер на знакомом месте, но атаман заупрямился и расположился, как мы знаем, во рву, окружавшем лес.

Азе вздумалось тотчас же бежать в селение, Апраш поднял топор и обещал разрубить ей голову при первой попытке бежать. Все старухи под предводительством Яги вооружились против Апраша: поднялся крик, вышла страшная суматоха, даже дети приняли сторону Азы, кузнец, уступая общему озлоблению, бросил топор, а Аза, измерив его презрительным взглядом, закричала:

– Теперь я не пойду, потому что не хочу, пойду, когда мне вздумается. Слушай, Апраш, я не боюсь ни твоих угроз, ни топора! С этих пор ты мне не начальник: мы друг другу чужие. Ступай куда хочешь: мои пойдут за мною.

Цыган стиснул зубы, засверкал черными глазами, замолчал и молча уступил поле битвы.

Только одна Аза знала, что происходило в сердце предводителя. Целый вечер просидел он у очага, не двигаясь с места, ни во что не вмешиваясь, не говоря ни слова. Аза на время взяла в свои руки управление шайкой, разместив людей, разделив ужин, она, чтоб дать почувствовать Апрашу его унижение, приказала поставить перед ним миску щей с ломтем хлеба. Цыгане не питали более никакого уважения к вчерашнему предводителю, и, будто льва больного, каждый бодал, если не рогом, то словом.

XXV

Не далее, как в двух шагах от печального Апраша грохнулся полусонный, полупомешанный Тумр и своим появлением встревожил весь табор.

Пораженная Аза схватила пылавшую ветвь и побежала к Тумру. Она осветила фигуру упавшего человека и с тревожным любопытством начала всматриваться в бледное, исхудавшее, почти мертвое его лицо.

– Так! Это он! – закричала она. – Я так и думала, он, рано или поздно он должен был прийти. Да как он переменялся! Словно мертвец! А! А! – прибавила она, вспрыскивая Тумра свежей водою. – Что с ним сделали поганые и белокурая жена!.. Для нее он покинул наш табор и наше привольное житье, а она замучила его! Бедный Тумр! По лицу видно, как он много вытерпел: постарел, измучился!

В это самое время Тумр открыл глаза, поднялся и, окинув удивленным взором окружающие его лица, остановился на прекрасной девушке, которая, как небесное явление, освещенная пламенем факела, стояла пред ним с улыбкой на устах. Видение это казалось ему продолжением сна.

– Где я? – спросил он хриплым голосом, поглядывая то на ромов, то на свои окровавленные ноги, руки, грудь. – Я ведь лег спать в своей избе, а теперь где? Что это? Где же Мотруна? Кто перенес меня сюда? А, а! Неужели все это сон – и изба, и Мотруна?..

– Так, так, твоя жизнь сон, – отвечала цыганка, подавая воду. –пей, освежись и поздравь себя с возвращением под родной шатер! Отведал ты счастья сидячей жизни: скажи теперь, чья лучше?

– Полно, да разве это сон? – протирая глаза, снова начал Тумр. – Ах, да! Янко говорил мне о вас, целый вечер хотелось посмотреть, как вы живете, страшно хотелось! Да помню, я лег в избе и заснул: какая ж сила перенесла меня сюда?

– Та, которая птицу гонит в гнездо, а зверя в берлогу, – смеясь, отвечала Аза, – знать ее не знаем, только она сильнее человека.

Тумр смотрел кругом и мало-помалу приходил к сознанию.

– Где же Апраш? – спросил он. – Где его жена?

– Жена его спит далеко в лесу, – отвечала Яга.

– Апраш спит себе спокойно у очага, – сказала Аза со значительной улыбкой, – уж он не предводитель, поднял на меня руку, и сам упал. Смотри, – прибавила она, отодвигаясь в сторону, – вот Апраш! Этот дряхлый старик хотел жениться на мне, сделать меня своей невольницей! Сорви с него голову или плюнь в глаза – и ничего не смеет сделать.

Апраш, оскорбленный насмешкой, схватил топор и бросился на Азу, но прежде чем он успел поднять топор, Тумр кинулся на него, одним движением руки опрокинул старика и, наступив на горло, вырвал из рук его топор.

Глаза бойцов, налитые кровью, встретились. Апраш зарычал, как дикий зверь, и отпустил руки.

– Так! – глухо произнес Апраш. – Я обессилел. Не господствовать уж мне над вами, а рабом идти за телегой. Пусти меня, Тумр. Клянусь Богом, смертью, болезнью, днем, ночью, что никакого не сделаю вам зла, отпусти меня, невольника!

Но Аза, припав к нему, кричала:

– Еще раз повтори, повтори десять раз – тогда тебе поверю.

Апраш стал повторять свою клятву.

– Отнимите у него топор и нож! – закричала Аза. – Благодарю тебя, Тумр, – прибавила она, обращаясь к Тумру, – ты спас мне жизнь, оставь его. Сам Бог послал тебя, чтоб спасти мне жизнь. Садись, согрейся у знакомого очага, расскажи, как ты жил после разлуки с нами... Ты бледен, худ, ты много страдал?

– А! А! – опираясь на локоть, отвечал Тумр. – Тяжкая была моя доля, поганые изгрызли и меня и жену, и отступились от нас, я терпел и боролся. Помер отец Мотруны, своими глазами проводил я его на кладбище, братья должны были выдать за меня сестру, да счастья от того не прибавилось: беды только нажил, никто и не смотрит на нас, кроме одного Янки.

– Ну, а твоя белая жена?

– Жена любила и любит меня, да что в любви, когда и голод и холод одолевают? Моя изба была для меня просто гробом, как в гробу, в ней душно, и тесно, и скучно, только и видишь могилы, кресты, пустыри...

– Ведь вас двое?

– Нет, сам – третий с нуждой, сам – четвертый с голодом, сам – пять с добрым Янкой, – возразил Тумр со злобной усмешкой. – Вы как проживали? – спросил он. – Где были, зачем перешли сюда? Что вы мне принесли, счастье или несчастье?

– Мы?.. – произнесла Аза. – Я хотела увидеться с тобой, Апраш противился было, да я настояла на своем. Жили как обыкновенно, каждый день все ново, кроме лохмотьев, жгли угли в кузнице, сопели мехи, работали руки, а Аза пела и кричала за деньги... И вот, как видишь, пришли, может быть, за тобою, а может быть, и к молодому пану... Что делает пан Адам? По-прежнему скучает да сердится, сам не зная, за что и на кого?

– Не знаю, – тихо отвечал Тумр, – он женился было и, говорят, жена обманула его.

– Что же ей было делать, несчастной! – смеясь, возразила Аза.

– Уехали было лечиться куда-то далеко, да пани, говорят, с веселья умерла.
– Умерла! Вот хорошо сделала! – всплеснув руками, воскликнула Аза. – Снова начну мучить его... Так в барском дворе пусто?

– Да.

– Что-то он скажет, как увидит меня? Завтра, непременно, завтра, оденусь, как пани, и пойду к нему!

Аза взглянула на Тумра, он молча вертел в руках погасшую головню.

– Пойду мучить его, смеяться над ним, – повторила Аза. – Ах, если б ты видел, Тумр, как эти паны за мной ухаживали, как они сыпали деньги, обещания! Я водила их за собою и бросала потом на дороге, как обглоданную кость.

В словах цыганки было что-то свирепое, но она была так прекрасна, что Тумр смотрел на нее, слушал и не мог налюбоваться.

Свет очага придавал ей еще более прелести, а недавняя беда – степенность и самоуверенность. Тумр не видывал еще Азы в подобных условиях.

– Да говори же что-нибудь о себе, – более мягким тоном произнесла она, – говори о своей избе, жене, жизни.

– Я сказал, – печально и медленно произнес цыган. – Жена добрая и честная, да все скучает и горюет о том, что не видит родных. Изба моя стоит за селом одна-одинехонька и смотрит на кладбище, в ней тесно, холодно и пусто.

– А не пищит ли в ней дитя? – задумчиво спросила Аза.

– Нет еще, но – кто знает – сегодня или завтра услышу его писк.

– Так?! Ну, пропала твоя головешка! Иссохнешь в своей избе, будешь сидеть со своей больной женой, да нянчиться с ребятишками! – потом, махнув рукой, она продолжала: – Ступай себе с Богом, теперь ты не наш. Ступай! Не смотри на наше житье. Теперь ты невольник! Ты поганый!..

Слова эти Аза произнесла без гнева, скорей с состраданием, но они пронзили сердце Тумра: он опустил голову, медленно поднялся с земли, повел вокруг печальным взглядом, и глаза его остановились на прекрасной цыганке.

– Ступай, – повторила она, – тебя ждет жена. Что надрывать сердце? Ведь не воротить того, что прошло.

XXVI

Разбитый, усталый Тумр медленно возвращался домой той же дорогой. Израненные его ноги едва передвигались, отяжелевшая голова свинцом повисла на шее, сердце то шибко билось, то замирало в тощей груди.

Пространство, так быстро пройденное в беспмятстве, теперь показалось бесконечным, он искал дороги, бросался в разные стороны и не мог найти. Изредка он оглядывался назад с надеждой увидеть Азу и потом усталыми глазами отыскивал избу, селение, кладбище.

Наступило утро – ночная тьма уступила место утреннему солнцу, небесные огни с каждой минутой становились бледнее, и темные тучи стали мало-помалу окрашиваться заревом востока.

Цветы боязливо высовывали из мрака свои разноцветные головки и освежались прохладной росой. Торжественная тишина прерывалась песнью ранних птиц и криком воронов.

Тумр шел, спотыкаясь, прохлада утра не поднимала его ослабевших век. Наконец он увидел серые кресты, сухие вербы, желтую могилу Лепюка и низенькую трубу своей избенки.

Он бессознательно прибавил шагу.

«Что делает Мотруна? – подумал он. – Видела она, как я ушел из избы? Эх, жаль ее, жаль! Зачем же полюбила цыгана?»

Дрожа всем телом, цыган миновал кладбище. На пороге не было Мотруны, и он смелее приблизился к двери. Он готов был перешагнуть через порог, когда из хаты послышался голос, чуждый для уха цыгана. Этот голос сказал ему, что он... отец.

Переступив через порог, он увидел жену, которая, лежа на полу, прижимала к груди ребенка, забыв свои страдания.

На пороге сидел Янко, он пропустил Тумра, позволил ему подойти к жене, нагнуться к ее жалкой постели. Но когда Тумр через минуту бросился вон из избы, чтоб вздохнуть свободней, карлик явился перед ним с выражением гнева и угроз.

– Что с тобой, Янко? – спросил цыган, вытирая оборванным рукавом лицо, облитое холодным потом.

– Что с тобой, проклятый цыган! – воскликнул карлик, сжимая кулак. – Где ты таскался сегодня? А! Жена тут стонет, а он к цыганам побрел!..

– Я не знаю, что со мною делалось.

– А я знаю, – произнес Янко, – дьявол тебя попутал – ты ходил к ведьмам плясать.

– Брани меня, – сказал Тумр, – но Мотруна тебе скажет, по своей ли воле я пошел, виноват ли я?

Дурачок сурово посмотрел на Тумра.

– Эй, берегись, поганое отродье! – сказал он. – Хоть я и мал и горбат, а убью тебя, как собаку, если не будешь беречь жены и дитяти!

Тумр презрительно улыбнулся.

– Янко, тебе не след грозиться.

Но Янко не слышал слов Тумра, он опрометью бросился в село, а цыган, оставшись один, поглядел ему вслед и воротился в избы. Сердце его сжалось при виде любимой женщины, распростертой беспомощно, мертвая бледность покрыла ее лицо, крупные капли пота выступили на лбу, цыган бросился на колени перед ней, в эту минуту он почувствовал себя виновным, хотя и не знал, что вовлекло его в преступление.

– Я не хотел уйти от тебя, – повторял цыган, – я не знал, что делал!..

– Тебя увела колдунья, – слабым голосом произнесла Мотруна, – ты спал, потом вдруг вскочил и убежал, я хотела было идти за тобой и упала на пороге... Не знаю, что со мной делалось и когда Бог дал мне дитя. Открывши глаза, я увидела Янко, он перенес меня на постель...

Тумр взглянул на плачущего младенца, и умственному взору его представился целый ряд новых обязанностей. Вдвоем кое-как еще перебивались, втроем – придется умирать. Больная нуждалась в помощи и в питательной пище, дитя в пеленках, а в избе не было и куска хлеба! Если бы Тумр опять пошел зарабатывать, жена осталась бы без всякого пособия. У цыгана затрещала голова.

– Что делать? – воскликнул несчастный отец. – Не на кого нам надеяться, не от кого ждать помощи! Я позову Ягу, она нам поможет.

При этих словах Мотруна схватила ребенка и крепко прижала к груди.

– Цыганку! – закричала она. – Не нужно! Не нужно! Она, пожалуй, отравит меня и дитя украдет.

Тумр пожал плечами.

– Да ты сама жена цыгана.

– Да, да! Но я боюсь их. Пожалей меня.

– Сама пожалей себя, – умоляющим голосом произнес цыган, – придется умирать без чужой помощи.

– А Янко?

– Тебе нужна женщина.

– Я встану, я встану! – торопливо заговорила Мотруна.

– Это невозможно: ты должна несколько дней не вставать с постели... Кто станет ходить за тобой и ребенком, кто будет варить?

Мотруна замолчала, но по лицу заметно было, что боязнь не оставляла ее, она не знала, на что решиться, она попробовала подняться с постели, но упала, испустив болезненный стон. Тумр сел возле нее на земле, и в его неподвижных глазах, устремленных на мать и дитя, выразилось безнадежное отчаяние.

В это самое время закричала дверь, Мотруна обернулась и задрожала, увидев безобразное лицо старой цыганки. То была Яга. Внезапное появление этой старухи могло бы испугать любого смельчака, не только родильницу. Бронзовый цвет морщинистого лица, курчавые всклокоченные волосы, улыбка, обличающая отсутствие зубов, и взгляд хищной птицы сделали Ягу идеалом ведьмы. Грязная рубашка, изорванная юбка и наброшенное на голову покрывало составляли все ее убранство, из-под которого выглядывали нагие костлявые руки и иссохшая грудь. Сгорбленная старуха опиралась на сучковатую палку, которая давно была в употреблении, судя по ее избитому концу.

Окинув избу пронизательным взглядом, она вошла и без обиняков предложила Тумру услуги. При виде ее Мотруна судорожно схватила дитя, а Тумр вскочил с места, удивленный внезапным появлением старой ведьмы.

Переступив через порог, она в одно мгновение успела разглядеть все закоулки, сосчитать горшки, и тотчас в голове ее составилось ясное понятие о нуждах Тумра, о том, чем он живет и что у него есть. Тихо, как кошка, Яга стала приближаться к постели больной.

– Стой! – по-цыгански закричал Тумр. – Жена тебя боится, вишь, как дрожит и плачет, уйди к двери.

– Чего ж боится твоя жена? – спросила Яга, усаживаясь на скамью, стоявшую у порога. – Разве она не цыганка? Разве мы не свои, не родственники?.. Я бы пособила ей нянчить дитя, а то она зацелует, задушит его. Ведь это мое ремесло, и дай мне, Господи, столько лет здравствовать, сколько им, роженицам, я помогла. Не бойся, милая, – продолжала ведьма на ломаном крестьянском наречии, стараясь, как можно приятнее улыбнуться, и смягчая свой сильный голос, – не раз я на своем веку принимала и у благородных, у богатых барынь... Ты, матушка, от любви задушишь эту крошку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.